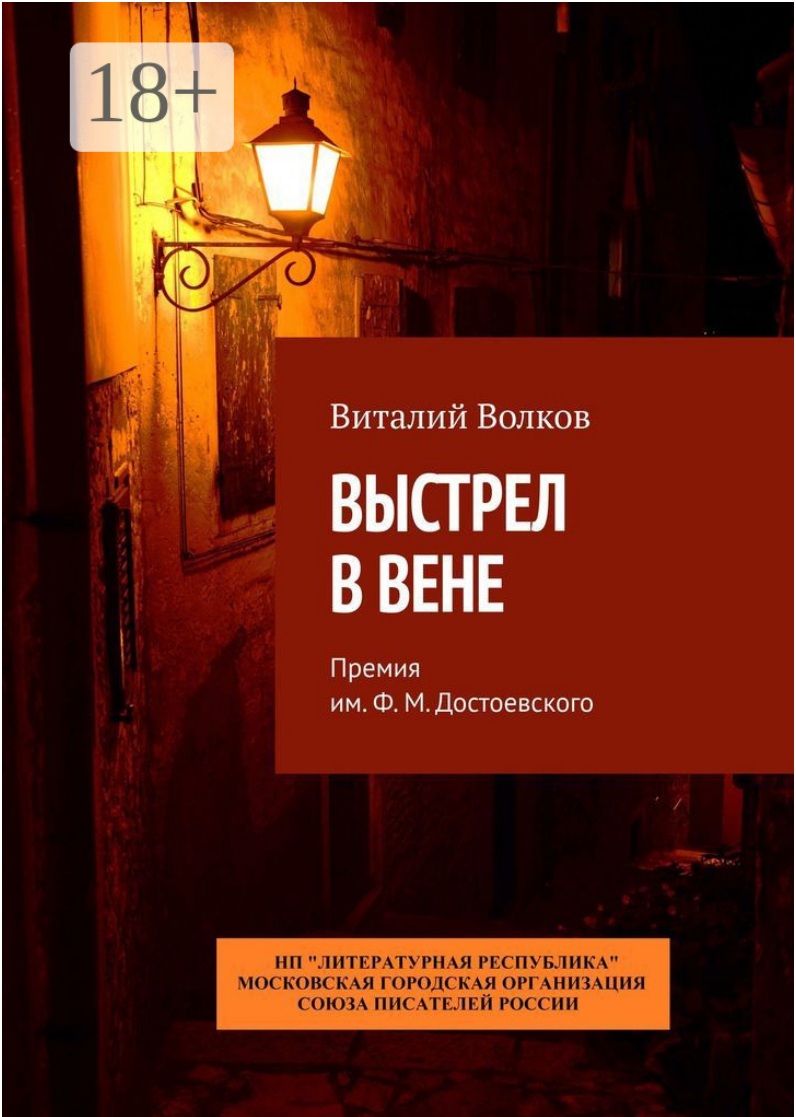


Виталий Волков

ВЫСТРЕЛ В ВЕНЕ

Премия
им. Ф. М. Достоевского

НП "ЛИТЕРАТУРНАЯ РЕСПУБЛИКА"
МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

Виталий Волков

Выстрел в Вене. Премия им. Ф. М. Достоевского

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=58860198
ISBN 9785794907551

Аннотация

«ВЫСТРЕЛ В ВЕНЕ» – остросюжетный роман о невероятной истории спасения практически святого человека во время Второй мировой войны, за которую приходится платить по счетам его сыну уже в XXI веке. Внук советского офицера ищет в Вене встречи со знаменитым музыкантом из Аргентины. Но почему на ту же встречу стремится успеть старый немецкий антифашист? О цене свободы писали многие. А есть ли цена у святости?

Содержание

ВЫСТРЕЛ В ВЕНЕ 6
ПРЕДИСЛОВИЕ К РАССКАЗУ ИННЫ НОВИКОВОЙ 7
Глава 1. О том, как Константин Новиков не успел к отцу 9
Глава 2. О том, какое наследство досталось брату и сестре Новиковым 18
Глава 3. О том, как Яша Нагдеман и его сыновья остались одни 33
Глава 4. О том, как два немецких солдата не стали дезертировать 40
Глава 5. О том, как Яша Нагдеман познакомился с комендантом 46
Глава 6. О том, как Нора Нагдеман не подпускала к мужу Эриха Бома 53
Глава 7. О том, как Костя Новиков по пути в Вену познакомился с журналисткой 70
Конец ознакомительного фрагмента. 81

Выстрел в Вене
Премия
им. Ф. М. Достоевского

Виталий Волков

НП «Литературная Республика»

Благодарности:
ЛИТЕРАТУРНАЯ РЕСПУБЛИКА
Директор издательства: Бояринова О.В.
Руководитель проекта: Крючкова А.А.
Редактор: Петрушин В.П.
Вёрстка: Измайлова Т.И.
Обложка: Дондупова С.Ж.
Книга издаётся в авторской редакции
Возрастной ценз 18+
Печать осуществляется по требованию
Шрифт Old Fashioned
ISBN 978-5-7949-0755-1
Издательство
Московской городской организации
Союза писателей России

121069
Россия, Москва
ул. Б. Никитская, дом 50А/5
2-ой этаж, каб. 4
В данной серии издаются книги номинантов
(участников) конкурса им. Ф.М. Достоевского,
проводимого Московской городской организацией
Союза писателей России
Электронная почта: litress@mail.ru
Тел.: + 7 (495) 691-94-51

© Виталий Волков, 2021

ISBN 978-5-7949-0755-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ВЫСТРЕЛ В ВЕНЕ

«Береги честь смолоду…»

эпиграф к «Капитанской дочке» А. С. Пушкина

«Сытым не выберешься из корзины. Выберешься только голодным, таким же, каким туда залез. Так же и тот, кто читает сны, – голодным он с легкостью пройдет через тесный промежуток между сном и явью, но его добыча и плоды, собранные там, сны, которыми он насытился, помешают ему вернуться назад, потому что это можно делать только таким, каким туда вошел…»

М. Павич, Хазарский словарь

ПРЕДИСЛОВИЕ К РАССКАЗУ ИННЫ НОВИКОВОЙ

Верящая в высший смысл любви

Я писательница. Мое занятие – любовь. Война, смерть – это не мое, мне не близкое. Любовь как способ упорядочения случайного. Мой символ любви, мой инструмент – слово. Перейди, перейди речку молчания – там тебя жду я. Долина слов. Я в ней, я собираю травы. В сумерках, к ночи, я слагаю их в вязанки и сжигаю. Слова – сны. Горят костры снов, сложенные из слов. Их много-много, костров, не одни мои. Их видят из космоса. Кто? Я не верю в Бога. В видящего Бога не верю. Слишком обща гуманность, и воля случая чересчур велика. Но не хочу допустить, что позывы чувств, бумажные птицы мыслей, что все то, что мы сами в себе принимаем совсем всерьез, сгорает просто так. Что рак похоти пожрет тело, которое могло бы расти здоровым. Потому полагаю волей своей и своей любовью, что если есть я, чтобы видеть светлячков в ночи, то есть Они, которые обращают внимание на наши, мои костры. Это кажется только, что случайное уменьшает мысль, которая есть увиденная связь. Нет. Иначе… Иначе через все темноты мужчины навели бы мосты! Но я открыла закон, который важ-

нее закона Ньютона. Мысль рожденная делит надвое существующее случайное, но сама же, своим рождением, рождает новое случайное, возводит его в квадрат. Открытие Ньютона порождает вселенную вне закона Ньютона. Поэтому борьба мужчин со случайным обречена. Они борются со злом. Все. Все! Догадка о существовании зла – это отрава, яд. Страх случайного! Не видя связей, в темноте машут они мечами. А я… Я жду тебя на берегу черной реки. Я собрала костер из снов. Любовь, равная зрению всевидящего, и сохранившего любовь – вот слово-загадка, которая положит конец случайному. Я кладу ручку. Слагаю с себя. Ты не найдешь меня. Но так я сохраню тебя. И светлячок твоего имени, и летящую от моей ночи частичку света отметят их стеклянные глаза через тысячу световых лет. Я знаю, зачем жить, зачем любить!

Глава 1. О том, как Константин Новиков не успел к отцу

У Кости Новикова вечерами вошло в привычку смотреть телевизор. Вот настали времена! Возраст? Девяностые «захлопнулись» с шумом и грохотом, «нулевые» присмотрелись к окружающей среде, окрепли и вымахали в «десятые», а на их плечах поднялись на свет божий сложные, неровные, но вполне патриотические рассказы о героях прошлых битв – разведчиках, конструкторах, дипломатах советского времени. Вот их-то вечерами в полном соответствии с новым мышлением господина ютуба выискивал Константин, а если не находил, то не спешил никнуть духом и обращался к онлайн каналам, где разбиралась на математические интервалы история древней Руси… А нужны ли нам были в князьях «варяги»? А несла ли исторический смысл опричнина, проклятая двумя поколениями либералов? А чьи это дворы Европы особо умело плели интриги для убиения неудобных русских царей? Ему это интересно. То же, что рассказывали о современности, Новиков внутренне пропускал, как цезуру, пробел в тексте книги. Пробел. Новиков считал себя человеком взрослым, во взглядах состоявшимся и к тому же бдительным, и терпеть не мог чувствовать себя обманутым и смешным. Потому что «обманулся – лох и сам ду-

рак». Правило девяностых. Оно правило. Или, как бы сейчас завернули, оно рулило… Такого правила придерживался его ротный, и Константин с ним в том солидарен. Выжил – значит, прав. Исторически прав… Значит, исторически права и новая Россия?

– Жить не страшно, если не лениться и не страшиться. А страшно нормальному мужчине по жизни выйти ботаником и лохом, – теперь сам он учил племянника, лопоухого школьника, склонного к забывчивости в материальном и к доверчивости в идеальном. В сестру, Ирину Кирилловну.

А еще Косте Новикову вечерами думалось об отце. Кирилл Петрович Новиков, старался ничего не значить в истории, не быть в ней ни точкой, ни запятой. Ничем он ей, истории, не мешает. В то же время, кто иной будет ей так беззаветно и отстраненно верен! А если так, то незачем ему умирать, такому человеку.

Когда мужской голос в трубке сухо известил Костю о том, что Кирилла Петровича везут в больницу номер 57 с подозрением на обширный инфаркт, он не поверил, как не верят грому среди ясного неба.

– Эй, пацан, плохая шутка! – с места взвился Константин. Характером он был крут. К тому же принял звонок за скверный розыгрыш. Ему вспомнились истории про телефонных мошенников, которые «разводят» родственников, продавая им доверчивость и жалось за деньги.

Почему о недуге отца ему сообщает чужой мужик с гру-

бым просаженным басом, а не сестра? Как часто Костю восхищал голос сестры, тонкий и всегда крайний, предельный – то он восторженный, если ей доводится заставить брата зачем-то выслушать рассказ о спектакле модного либерального театра, – «нет, ты всегда увиливаешь, а тут послушай, вот такой спектакль перевернет твое отношение к геям», – а на кой болт ему менять отношение к геям, когда уже есть устойчивое отношение к таким театрам! – либо голос становится обличительным, если о власти, о КГБ, или, не дай бог, о «Крымнаш». И Новиков-младший тогда не выдерживает, восхищение ее близорукой голосистостью перекипает через край. Он гладит ее затылочек братской ладонью и, стараясь не повысить тона, уговаривает не рассуждать о политике, потому что не ее это дело, раз мозги покосились и пошли набекрень от «либеральных горнов», вступает с ней в спор, а ей того и надо. «Эх, Ириска, если вы хотите быть такими умными, почему вы такие неумелые», – каждый раз заводя себя в когнитивный тупик и искренне отчаиваясь, отчаиваясь раз за разом убедить ее силой доводов, отчаиваясь, как любящий человек, – да, отчаиваясь, младший брат прибегает к стальному зажиму. Он-то нынешний век на зубок попробовал. Он не чета ее кумирам с «Дождя» да с «Эха» – названия-то сами должны за себя все сказать, родная. Он русскую жизнь знает. Потому и зарабатывает сам. На себя, на отца, и на сестру с племянником. Коротко, спичкой вспыхивая, сердится Константин Кириллович на сестру, но отходит, гаснет, вспо-

миная, что у каждого из живущих на русской земле должны быть своя шишка от столкновения с родиной. Так говаривал мудрый дядя Эдик, единственный друг отца. Что попишешь, если у Ириски шишка – на ее «либеральном мозжечке», отвечающем за равновесие! На Ириску грех не рассердиться. А еще грешнее позабыть, что за отцом приглядывает она, Ирина Кирилловна. И о состоянии здоровья Кирилла Петровича ему ежедневно докладывает сестра. Так между ними установилось.

Но был один повод, по которому, прежде, брат с сестрой ругались насмерть. Отец заметил это, и однажды этот тихий человек проявил резкость, ему не свойственную. «При мне больше никогда. Ни-ни. Что вы, как волчата! Не смейте спорить о деде Петре Кирилловиче. И избавьте меня от оценок моего отца. Не суди, и о тебе тоже помолчат. И себя избавьте!» – повелел отец, и его спина-запятая вдруг выпрямилась на миг. Сын запомнил тот день и тот гнев – он запомнил отца красивым и странным. Эксцесс случился пять лет назад. В тот день с сестрой заспорили о дедах. Дед по матери не воевал, был инженером. Дед по отцу дошел до Европы, освобождал Чехословакию. Наводил советский порядок. Там и погиб… Константин Кириллович Петра Константиновича очень чтит. Ириска – стыдится такого родственника. И ничем ее не убедить, что дедом гордиться надо, и нет в том большой разницы, служил он в войсках НКВД или не служил… Нет, не служил. Но какая разница? Что зазорного

в войсках НКВД? Сколько их полегло, и на границе, и наравне с другими? Да и не переубедить Ириску, что не в НКВД? Тоже выискалась, знаток ратного дела! Сестра – безнадежна. Ей «Эхо от Дождя» заткнуло оба уха, что серными пробками. Раз Европу освобождал и советские порядки наводил, значит, по локоть в крови… Однажды стало Константину совсем невмоготу, так что вышел из себя, криком крикнул, попробовал пробки эти пробить. Вот тогда отец меж ними встал. Наказал. В смысле данного наказа. И заставил Константина иначе, чем прежде, глядеть на него, не как на отца, а как на сына деда, Петра Константиновича Новикова. Что же он сам? Как мыслит сам Кирилл Петрович? Отчего молчит о том, считает ли своего отца героем… Сперва только выпрямился, словно сжатая годами пружинка, а затем еще сутулей стал, нахохлился и молчит. Так что же он, историк и сын ветерана и участника, не определился в соотнесении личного и общественного прошлого? А что, если он боится истории с отцом, с Петром Константиновичем? И наказ – от слабости да от страха? Да, Константин услышал наказ отца. И согласился, из уважения или милосердия, что ли. Ирина Кирилловна – она тоже согласилась с отцом, но нашла для того совсем другую причину, нежели он сам. Она-то ни на минуту не усомнилась в том, что Кирилл Петрович на ее стороне, как всякая женщина в глубине души убеждена в своей правоте, и одну отличает от другой только степень готовности немного уступить. Да, она-то уверена, что отец,

не желая ссор между детьми, не готов сам вступить в спор о родителе с неразумным самоуверенным сыном. Бог с ней, пусть так судит о нем и об отце Ириска. Ему куда важнее, что на самом деле таит за складками лба отец. Его морщины – страницы захлопнутой старой книги. И сыну не сказано, на какой странице закладка… Ищи сам!

Отец с сыном о политике не спорят. Отец способен долго слушать Костины рассуждения, он порой согласно, поощрительно кивает, иногда задаст уточняющий вопрос. Он все еще старается разобраться в происходящем за окнами. Там новый для него мир. Другое дело Ириска. Какой перед ней мир? Мать-одиночка… Что с ней меряться силой! Что им делить в прошлом, если даже в настоящем хорошо бы научиться складывать и умножать! Он заботится о сестре-разведенке, хотя так и не понял, с какой стати она указала на дверь своему мужу, нормальному, в общем-то, парню, с душой и с понятием. Что за довод: нет сил жить больше с человеком, проголосовавшим за Зюганова! Что, у таких руки кривей, чем у «немцовских»? Да, Константин заботится о сестре, как умеет и может. Он – о ней, а она – о Кирилле Петровиче. Она это умеет и может. Поэтому откуда вдруг инфаркт? Почему мужской голос из преисподней? Ерунда. Морок.

Но голос не сгинул от Костиного рыка. Он оказался настойчив и деловит. И Новиков-младший заказал такси с желтым номерным знаком и поспешил в больницу. Стоял ноябрь из тех, на которые москвичи сетуют, сетуют, но раз за ра-

зом быстро привыкают, а отвыкают долго и трудно. Под колеса заметала муку мелкая поземка, дорога скользила, небо серое, низкое, низкие шапки пешеходов, туго надвинутые на лбы. Болеть в таком ноябре – грустно. Умирать – лучше всего. Так таксист утешил Константина. Таксист – пожилой таджик из Хорога, он знал, где находится 57-я, и настроился на философский лад. Константину не интересна была памирская логика. Он прикрыл веки. В другой день он бы ответил язвительным выпадом человеку по имени Насрулло, крупными буквами выведенному на панели перед пассажиром, на заламинированной, и оттого до боли по больничному отблескивающей ярко-желтым лицензии водителя. Так блестела лампа в госпитале, в Рыбнице, когда из Константина вынимали пулю…

К азиатам-таксистам, азиатам-дворникам, азиатам-официантам он относился с недоверием. Среди бывших фронтовых товарищей по Приднестровью были те, кто успел отметиться и на таджикской «граждане». Так что ему успели рассказать о нравах «вовчиков», да и «юрчиков», которые даже румынским уголовникам могли бы предложить фору в изощренной жестокости и в коварстве. Почему хитрость часто прямо пропорциональна жестокости? И не только на войне? Потому ли, что хитрость – девица, которая не верит в бога? Она предполагает, что на Земле всем места не хватает. Кстати, Константин делал исключение для казахов. За казаха он мог вступиться, оторвать голову и русскому, если что.

Во время зачистки Рыбницы от обкуренных румынов-уголовников, которых Сигуранца выпустила из тюрем и бросила на чужой берег Днестра искоренить там русский дух, – вот тогда в жестоком бою спину Новикову прикрыл Амиржан, дельный доброволец из Тараза. У Амиржана, мир его праху, лицо было похоже на опушившийся одуванчик. А у Насрулло – на грецкий орех. Но все это не о том. Неужели пришел час, и памирец – ворон смерти? Где же сестра? По причине, которая оказалась сильнее его логики, он не набирал и не набирал ее номера телефона, и только мысленно гнал скорее вперед по выделенной полосе и так спешащего водителя.

«Главное – успеть», – понял он. Есть цель – есть движение. В Рыбнице он был ранен, и с той поры терпел через силу запахи больницы.

– Что с Вами, мужчина, – спросила даже с участием тертая бабенция в регистратуре. Стрижка ежиком, как у новобранца.

– Что со мной? – переспросил Новиков.

– У тебя все лицо в паутине. Я тебя такого серого не пущу, или на каталке. Может, ты сам больной, с вирусом.

Константин ощупал ладонью лицо, как будто на него действительно могла налипнуть паутина. Кожа холодная, как у мертвеца.

– Я к Новикову Петру Кирилловичу. То есть к Кириллу Петровичу…

– Ох, ясно тогда. Так не успел… Не успели. А Ваше сест-

ричка хоть успела.

– К чему успела? – сморозил глупость Константин и пошел к лифтам, не сняв куртки, не натянув бахилы.

– Ни к чему… – тихо ответила женщина. Она погладила ежик и, обождав пару секунд, набрала по внутреннему вахтеру, что держит пост возле лифта.

– Коля, там сейчас кент с лицом трупа, ты с ним себе дороже не спорь, он из «этих», типа тебя, а пусть только куртку в руку. В палату ему не надо, там уже ничего не надо.

Глава 2. О том, какое наследство досталось брату и сестре Новиковым

Кирилл Петрович распорядился наследством странным образом. Квартиру он передал Ириске, а Константину – архив. Оглашая завещание бывшего доцента и кандидата исторических наук, нотариус запнулся при переходе от квартиры к архиву и поднял строгий взгляд на Новикова-младшего, мол, ясно, ясно, почему. Ясно, кто ухаживал за отцом, а ты, бесприданник, теперь покопайся в бумагах. Но законника ждал сюрприз. Его выражение лица изменилось, когда он дошел до примечания о коллекции марок, которая волей усопшего приобщена к архиву. Секретарша нотариуса, молоденькая прилежная мышка с карманным тельцем в летнем открытом платьице, оторвалась от компьютера. Зато сестру примечание обрадовало – а то она уже готова была тут же, на месте, восстановить справедливость и отказаться от новой собственности. Новиков отметил ее радость и, не дожидаясь, пока деловой нотариус дочитает текст, обнял сестру за плечи. Он не нуждается ни в деньгах, ни в жилье, а она нуждается и в том, и в другом, а еще в мужской руке. У нее стали восковыми плечи.

– Костя, что ты?

Брату захотелось сказать сестре, как ему мечтается, чтобы они с племянником обустроились по жизни, и другое, даже более важное сейчас – например, что он, наконец, видит в ней сходство не только с материю, но и с отцом, и еще что-то…, но, заметив влагу на ее глазах, Константин осекся, спрятал в себе слово любви. Да и не к месту. У нотариуса шпарит батарея, жарко, как в бане.

***

Кто не удерживал на груди голубя, уже трепещущего крыльями в стремлении лететь, кто не подхватывал извивающееся тельце котенка, рвущегося с рук на траву, кто не сжимал поводок на худенькой старческой шейке правды, верящей, что она нужна миру – тот спит и не видит снов. Кто бы ты ни был, а верить в лучшее будущее ты имеешь право. Не обязан, но можешь надеяться и верить. А Константин Кириллович не верит и не надеется. Он оптимист наоборот. Его радует, что день сегодняшний, в котором он живет, скорее всего и по большому счету, лучше какого-то «завтра», о котором даже нет уверенности, что оно наступит. Глупо считать, что счастье – это если есть надежда, что завтра лучше, чем сейчас. Живешь-то ты сейчас! Сейчас и вчера. Которое, дай бог, было лучше, чем сегодня! Константин утверждает, что ему надежду внушает дума о прошлом, которое уже состоялось, по крайней мере у него. Неплохое прошлое, без предательства, без бесцельности, без заумной пустоты. Пусть его прошлое останется таким. А будущее – уже не его.

Константин Кириллович считает состоявшимся свое детство, проведенное в физической и иной близости от отца. Собственной дачи не было, и Кирилл Петрович, если не отправлял Костю к Эдику, то ездил с детьми в Молдавию, к родственнице тете Светлане и ее молдавскому мужу. Те чтили Кирилла Петровича за ученость и опекали за скромность. А дядя Эдик? Дядя Эдик – это пятое время года для пацана… Даже обычный лобзик, попав в его руки и в его лексикон, становился особенным, как слово «парусник»… Он так и назвал их лобзик – Парусником. «Всякому предмету дай имя и живи с ним по-родственному», – понятно объяснил свой взгляд на предметы Эдик. А еще была школа с хорошим, правильным математиком и с ужасным беспалым историком, по совместительству преподававшим труд. Кличка – опять же Лобзик. Трудно оценить, в чем больше счастья – в положительном опыте уроков математики или в вечном анекдоте с трудовиком… А еще была репетитор, пытавшаяся научить Костю «нэйтивэнглиш». Прозвище Темза. От нее так пахло пудрой, что вместо любви к английскому проявилась физиологическая ненависть к Темзе, Британскому музею и к колонне в честь героического адмирала Нельсона. Может быть, этой женщине Новиков-младший обязан жадному интересу к Нахимову, к Суворову и далее по полям сражений… Но лучше школы и намного лучше уроков английского оказалась секция борьбы самбо. Там пахло не пудрой, слава богу. Не те времена, не та страна… Иногда Ки-

рилл Петрович провожал сына до секции. Он не заходил в зал, но в такие дни на тренировке Косте нет-нет, а казалось, что тот втихаря, из-за двери, приглядывает за ним. И сила как будто утраивалась, так что казалось, одолеть любого в зале ему нипочем. Сам Кирилл Петрович никаким спортом никогда не занимался, ни с кем соревноваться не любил, а бодрость тела поддерживал исключительно ежедневным холодным душем и утренней гимнастикой Воробьева. Приседания, отжимания, наклоны. Инфаркт…

Только разобравшись в архивах отца, Константин задумался о том, на какие средства тот его воспитывал. Вот трудовая книжка, вот пенсионная, вот сберегательная, а вот дневник приходов и расходов, ясный и последовательный, как упражнение утренней гимнастики. Отец-одиночка был дотошен в бухгалтерии. Но и Константин оказался дотошным аудитором. Его проверка показала, что не все статьи семейных расходов Кирилл Петрович покрывал окладом преподавателя и даже кандидатской надбавкой.

Вот велосипед Ириске марки «Салют», для советского быта – не дешевый, ладный, со складной рамой. Уместится в любой малогабаритной квартире. Константин помнит тот агрегат с толстыми шинами и рамой салатового цвета – редкая краска. «Салют» прятали на балконе, но украли его у Ириски возле школы, и как младший брат с помощью самбистов ни искал пропажу, кончился «Салют». Вот тогда ему на смену чудесным образом пришла изящная женственная

«Десна». Синенькая, блестящая рама, изогнутая, как лебединая шея. А куплена эта пава была на одну проданную марку. Это следует из записи в кондуите, где в графу убытков занесена марка «М213—1», а следующей в графе приобретений как раз значится «Десна» – с указанием ее стоимости, прописанной крупным широким почерком сотрудника гуманитарной кафедры. «Десна» – она ниже, легче «Салюта». Она и ему, подростку и живчику, пришлась по душе и по росту, и он вместо Ириски принялся раскатывать по району, не по двору, на зависть местной шпане. Но знали его уже с уважительной стороны старшие пацаны, и никто не решился проучить пижона, заехавшего на чужие земли. Свобода! Вот это было счастье! И зачем это счастье умалять каким-то лучшим будущим? Да и каким должно было бы быть то будущее, что способно стать лучше такого прошлого?

– Что же то была за «М213—1», милая марка, которой я обязан счастьем?

«М», вероятно, и обозначает «марку», а 213—1 – порядковый номер и, возможно, номер альбома. Если бы Кирилл Петрович продал М213—1 не в 1979-м застойном году, а нынче, то мог бы оставить на память копию в электронном виде. Но тогда… Константин хорошо помнит то время. Оно как эхо. Зря прозвали его застойным. Застой – болото, а эхо-то – как в горах. Странно, что Ирина не слышит того, что дано ему, что ее память не сохранила обобщенного счастья двора, пыли, прибитой водой, разбрызганной

из шланга дворником Ильей на деревянной ноге, а Илья плечом старомодного френча притулился к липе, к которой припала рамой и «Десна», чей шорох шин только-только слился с шорохом воды, пробивающейся на волю сквозь змеиное тело черного шланга. Время – вода, шланг – прошлое, бог – дворник, на одной ноге… Так вот, он – за советское прошлое, и ленточка за ранение под Рыбницей – не просто так нашита на добровольческий китель, спрятанный в платяном шкафу. Странный анахронизм – у мужчины – платяной шкаф… Примета прошедшего времени. «Мой адрес – не дом и не улица». Это не позиция, это данность, это восприятие окружающего… Образ прошлого из старого кино – платяной шкаф.

Но к марке. Каково было Кириллу Петровичу, которого студенты за глаза прозвали «тишачком», красться с заветной М213—1 во внутреннем кармашке драпового пальто к какому-нибудь подпольному нумизмату, Ефимовичу или Израилевичу, на конспиративную квартиру и обратно, с пачкой красненьких, домой, оглядываясь на каждом углу и опуская глаза перед каждым встречным? Откуда у тебя, Кирилл Петрович, М213—1? Пока загадка. Точнее, задачка.

Потому что дальше – круче. 1983 год, лето, Ирискино совершеннолетие. Уходит М813—1. А что приобретено – не указано. Но Константин вспоминает – как раз в тот год Кирилл Петрович на месяц с сыном отправился к тете Свете, а Ирина – на Золотые пески, в Болгарию, да еще с подругой.

По путевке. Вот она где, М813—1! У сына – снова паутина налипла на щеки, на нос. Ему открылась глубина заботы отца о детях, и тихая его отвага на обыденном поле боя. Забота о радости. В Болгарию, на Золотые пески! Это счастье можно измерять в лихтах и люксах. Значит, М813—1 имела стоимость не только в красненьких, и не только для Ефимовича или Израилевича, но и Васильевича или Трофимовича, чьи зады давно уплотнили выемки в кожаных начальственных креслах. Это же надо, двух юных девиц за границу, в Болгарию! Как разрешили, как матерых профсоюзных деятельниц в списке обошли? Как же ты решил вопрос-то политический тогда, Кирилл Петрович! И что же ты из себя представляла, М813—1? Ты-то откуда у отца? Константин не помнил, чтобы отец увлекался нумизматикой. Задача.

Потому что и это не все. 1986 год – М1013—1. Что появилось тогда в материальной жизни семьи Новиковых? Понятно. Вот расходы, новые расходы Кирилла Петровича. Костюм, дубленка, финские сапоги зимние – все для Константина Кирилловича. А еще – репетиторы по физике и математике, потому что Костя собрался в солидный технический ВУЗ. За турнирами по боксу и самбо и увлечением девушкой со сложным нерусским именем юноша запустил стереометрию и не пересекся с учением Максвелла. Константин как сейчас снова увидел двух бодрых старичков, Михаила и Николая Ивановичей, братьев-близнецов, ранней весной того года готовивших его к решению задач на вступительных эк-

заменах. Оба являлись к нему на квартиру бодрые, краснощекие, с лыжами наперевес, в лыжных шапках, в охотку пили чаи с сахарком, оба сообщали Кириллу Петровичу о Костиных способностях к точным наукам, получив из его рук по синенькой бумажке. А ближе к маю в ход, было, пошли целиковые за сдвоенные часы, но вдруг один из двух Ивановичей, который физик, возьми и умри от инфаркта… В газете был некролог. А потом скандал, потому что газетчики их перепутали. А дядя Эдик сказал, что еще не известно, стоит ли возмущаться, потому что, по сути, умерли оба…

М1013—1 – последняя из марок, занесенных в расходную графу. Константин без труда догадался, что именно тринадцатыми марками в главном альбоме отец отмечал некие особые экземпляры, и только из их небольшого числа он выбирал те, которые приносил в жертву благополучию детей.

Сама коллекция – совсем не великая – состоит из пяти небольших альбомов. Действительно, как в гербарии, к каждой марке прилагается закладка с номером. Константина охватил азарт, а где же другие тринадцатые? Он тщательно пролистал сначала главный альбом, а за ним – остальные, но таких, тринадцатых, не нашел ни одной.

«Очень жаль», – расстроился он, не сумев подержать в руке хоть одну диковинку. И тут его внимание привлек почтовый конверт в последнем из альбомов. Конверт был заложен между пустыми страницами. Этот конверт вывел его на ниточку, которая может вести к ответу «откуда». Менее

внимательный человек, нежели Константин Новиков, мог бы не связать иностранный конверт с серией М213—1.

Но, оказавшись в его руках, узкий продолговатый конверт с мягкой прокладкой на внутренней поверхности и с несколькими штампами был внимательно изучен, причем в ход пошла отцовская лупа на длинной тонкой ножке. Прозвище Балерина. Константин испытал сложное чувство, обнаружив себя в отцовском кресле – прозвище Скрипка, со стародавним оптическим прибором, поднесенным к глазу и в позе, в которой он видел отца – глаз отца казался огромным и единственным, и такой отец вызывал уважение и даже страх, а не иронию. Сложное чувство – как восхищение искренним вкусом белужьей икринки, оказавшейся на языке впервые по прошествии многих лет. С детства. Икринка сама по себе еще не несет вкуса, но высекает фотон памяти… А ведь считал ты, Константин Кириллович, что никогда и ни в чем не походишь на отца… Кресло поскрипывало при каждой мысли.

По штампам на конверте стало ясно, что отправлен он был из Болгарии. С адресом и фамилией отправителя Новиков-младший отправился на встречу с Вадимом Власовым, коренастым мужиком и подполковником ФСБ, а в прошлом – командиром отряда, однажды очень вовремя прикрывшего огнем Костино подразделение. Тогда Вадик выпивал, причмокивая, квинтовские коньяки. «Нет в мире лучшего разлива, и все ваши райские „Хеннеси“ – бурда», –

со знанием дела поучал он окружающих так, как будто все они только и делали, что пили этот или эти пресловутые «Хеннеси Парадиз». А теперь, проставляясь на встрече с Власовым за личное время, потраченное на него государевым служащим, Новиков потчевал того дорогущим виски в британском баре на Смоленке. Из стакана с модным напитком несло густым шотландским болотом, но Вадик счастливо щурился одним глазом, когда губы касались бороздистого, как граната «лимонка», стекла.

– Узнать, конечно, можно. Отчего не узнать? Но ты же у нас бизнесмен, ты же не пошел по государеву делу. Мне по старой дружбе глотка виски хватит, но пробивать ведь не я буду. Так?

– Сколько, Вадик?

Подполковник хмыкнул. Левую нижнюю губу удлинял шрамчик, и человеку, не знающему этой физиономической особенности, казалось, что у Власова на лице всегда улыбочка.

– А сколь не жалко. Этот кент болгарский тебе по бизнесу, или по какой другой надобности?

– По другой. Дело личное.

– Ах, личное? Верю. Верю, что личное, – перекладывал слова подполковник, давно познавший цену времени на таких встречах: чем дольше встреча, тем больше виски, – но все-таки ты мне дай наводочку. Мы ведь не справочное бюро. У меня хоть и две звезды, а пусть какое, но обоснова-

ние требуется. Сейчас строго стало.

– Это хорошо, что строго. Давно пора.

– Ага, пора. Только что же ты с личным, если хорошо? – глаз полковника глядел жирной маслиной, но в нем блеснул металл.

«А то, что ты давно уже спекся, Вадик, и тебе уже никакая строгость ни по чем», – про себя саркастически заметил Константин.

– Придумай сам. А я письмо нашел у отца, из Болгарии. Ищу приятелей отца, хочу о нем узнать побольше. Чтобы было, что рассказать племяннику о деде. А то сестрица ему все мозги загадила.

– Либерастка?

– Ты, Вадик, слова выбирай. Все-таки в общественном месте… Да, есть у нас такое дело.

– А чего племянника-то лечить? Своих не надумал завести? Им и рассказывай. Или как?

– Никак.

– Никак – это после твоей биатлонистки? Как там ее звали? Ла-адно. Не хмурься. Крути мне дальше баки про племяша…

Подполковник в самом деле ухмыльнулся. Он давно определил Константина в категорию хронических холостяков, дети у которых если и появляются на свет, то только по случайности. Целый подполковник в людях разбирается, а в приятелях – тем более. А как же!

Укол Власова оказался болезненным – Константин не так давно сам стал задумываться о своем холостяцком будущем и ставить его под вопрос. И про биатлонистку подполковник Вадим – зря. Не тема для праздной фразы. Власову-то известно, что не тема. Также как известно полковнику, что спрашивать с него за это Новиков нынче не станет, не с руки.

– Рано ставишь на мне крест, Вадим. Я вот эту болотную тину не глотаю, а предпочитаю водочку-наводочку, так что здоровье и внутренний мир держу в относительном порядке.

– И что ж тогда? – посерьезнел Власов, взгляд его стал сосредоточен, зрачок – недобрый, трезвый.

Новиков не ответил.

– И тут молчишь? Расслабься. Я же не против, Костян, я только за. В смысле, за водку-наводку. На крестинах могу и беленькой с тобой попить, если ты такой патриотичный. Хотя, говорят, хороший виски для организма полезнее. А если так, то и я свое хозяйство в порядке держу.

– Ну да, две звезды на плече! Плечо должно быть о-го-го!

– А ты не шути. Я, между нами, мальчиками, еще на одну заложился…

– А, понял намек. Мне по ходу надо поторопиться с просьбой, пока ты на полковничий тариф не перешел?

– И тут не шути, Костян. Я же сказал, я с тобой без тарифа. Кому надо, тебе или мне?

…Боевые приятели разошлись, не вполне довольные друг другом, но, получив от Новикова деньги, просьбу полковник

выполнил на пятерку. Передавая информацию, он подмигнул:

– А все-таки особые у нас связи с болгарами… С братишками и с сестренками!

Отправитель письма, бывший житель Варны Стоян Ефимов оказался известным географом. Он не умер, он жив и проживает в Израиле, в городе Хайфа. Адрес, телефон, мэйл самого ученого и его дочери Стоянки. Не откладывая в долгий ящик, Константин позвонил в Хайфу и пообщался с заслуженным географом. Когда он представился сыном покойного профессора Кирилла Новикова, в архиве которого обнаружилось письмо от Ефимова, собеседник на ясном русском ответил, что никогда не был знаком с таким человеком.

– Молодой человек, мне жаль. С Вашим отцом я не имел чести быть лично знакомым.

Вот так и сказал: не имел чести. Константин извинился и собрался попрощаться, как вдруг голос на том конце Европы сбился. Поначалу Новиков решил, что на старика напал приступ мгновенного насморка, но нет, стало слышно, как Стоян Ефимов всхлипывает.

– Ох как я сочувствую Вашему горю, молодой человек. Ваш папа должен был быть очень достойным человеком. Его бесконечно уважал сам рав Яша Нагдеман, – выговорил сквозь плач Ефимов с пронзительной искренностью переживания. Константин был поражен и растерян. При чем тут ока-

зался раввин? Отец и раввин? Связи не прослеживалось.

– Извините меня, герр Ефимов, – почему-то по-немецки, как учили в школе, обратился к болгарину Новиков, – отец мне никогда не рассказывал о Нагдемане.

Немного успокоившись, Стоян Ефимов из Хайфы поведал историю, которая еще на шаг приблизила Новикова-младшего к разгадке серии тринадцатых. И отдалила от отца. Обида. Так мочка пальца досадно саднит от неопасного, мелкого пореза, сделанного кромкой бумажного листа.

Константину уже многие годы не снились сны. Его сон недолог и чуток. От чрезмерных возлияний Новиков-младший старается воздерживаться, ночи по большей части проводит в одиночестве – он не любит пробуждаться в своем доме, в своей постели, но по соседству с чужим человеком. Ранний подъем, душ, зарядочка с активными силовыми элементами, обязательный час чтения до скромного холостяцкого завтрака. Так заведено. Но разговор с Хайфой разрушил привычную схему утра предпринимателя средней руки. Вирус разрушает клетку – основу и модель самоподобной структуры всего организма. Сон – это мера консенсуса, достигнутая человеком с самим собой. Слово может нарушить, изменить формулу подобия, положенную в общем знаменателе человечьей дроби. Слово из Хайфы было высоким словом, и оттого глубоко занесло оно вирус сомнения в семейном и собственном прошлом. Впрочем, Константин зауми боится пуще загулов. Но попадание в формулу клет-

ки, не в цисту, не в мембрану, а в самую-самую формулу, в суть конструкции чужого – нарушает, а то и стирает договоренность с самим собой, подписанную, как у кого, наверное, однажды, в детстве, – в доме дяди Эдика, под рамой окна, сквозь отверстие под неплотно пригнанным винтом продуваемое узкой струей ветра…

История семьи – это формула ДНК, она вроде бы дана в генетике и в последнем ощущении. И вдруг – раввин. Вирус? Угроза? Вирус сомнения в формуле клетки… Вот как прошлое обретает над нами, малышами, чудовищную силу. Мы ведь состоим из одних клеток, а их конструкция, их суть определена подобием… Геометрией самоподобия. А было так…

Глава 3. О том, как Яша Нагдеман и его сыновья остались одни

Яша Нагдеман верил в чудо. Нет, не так. Яша верил в руку Божью. Было бы странно, если бы раввин не доверял Богу. Но имеется тут подвох. Это ведь не твое дело, протянет он тебе руку или не протянет. А если не протянет, то протянешь ты. Ноги.

Рав Яков не выходил из комнаты пять лет. Комната с высоким потолком, украшенным вензельками. Высокие потолки предполагают свет, они созданы ради света. В этой комнате родился сын, Эрик Нагдеман. Здесь умерла жена, Ида. Пол выложен дорогим паркетом трех цветов – дуб, ольха и бук. Комната с высоким потолком, украшенным вензельками, разделена натрое суконным полотном. В плотных шторах, задернувших огромные, гренадерские, наверху закругленные окна, вырезаны галочки, чтобы днем сквозь них просачивались лучи света. «Тонкие руки бога, протянутые нам», – так молодой раввин Яша Нагдеман называл лучи, пронизывающие воздух, насыщенный частичками легкой пыли. Сам он возводил собственные худющие руки к небу, и его лицо, темное в вечных сумерках лицо, заостренное во всех плоскостях, изнутри освещал тихий огонь.

Яшу Нагдемана и его семью прятал уважаемый в Брасло-

во человек, герр Штраха. Его, торговца сукном и настоящего немца, там уважали еще до прихода в город Вермахта. Жена этого высокого, дородного мужчины, оснащенного пышными усами и прочими неоспоримыми признаками достатка и достоинства, была обладательницей шведского паспорта, но и в ее худом, некогда изящном теле протекала немецкая кровь. После прихода нацистов в прекрасный имперский городок под Братиславой эта чета попала в фавор к самому наместнику фон Штофу, назначенному руководить Браслово указом едва ли не самого фюрера. Поблизости от дома торговца сукном расположилась комендатура, так что прятать у себя раввина и его жену, черноволосую еврейку с оливковой кожей и чертами лица, запоминающегося припухлой доверчивой верхней губой – это была дерзость. Но немцы, расхаживающие под окнами, и временами заходящие в сам дом, так и не сумели обнаружить еврейского духа, исходящего из дальней комнаты. Семья Нагдемана успела увеличиться на Эрика и сократиться на Иду, умершую при родах, и Штрахи с их практической одаренностью сумели сохранить оба эти события втайне, и втайне похоронить Иду, и помочь овдовевшему раввину выходить грудного ребенка, и старшего сына Мойшу. Да, Штрахи оказались удивительно дерзки и умелы, они вызывали восхищение в Яше, который видел в них не посланцев, но орудия Бога. Семья Яши, мужчина и два мальчика, научилась вести жизнь в потемках.

In den dunklen Räumen Herz ist eine Kerze *(нем.: в темных*

залах сердце – свеча).

Но вот забегали в ажиотаже офицеры – Яше, чей слух уже успел подменить собой зрение, их было не сложно отличать по голосам, выкрикивающим команды, упруго отскакивающие от стен домов и камней мостовой, – да, на нерве забегали офицеры, а теплый весенний воздух за окнами чаще и чаще упругими волнами колыхала канонада, а потом стал сыпаться с неба горох автоматных очередей. Раввин так и прятался, близко не подходя к окнам и следя за тем, чтобы на отдалении от перепонки, ведущей в тот мир, оставались Мойша и Эрик. Да, Яша Нагдеман подготовился к тому, что его земная жизнь теперь будет осуществляться только на этом затемненном пятачке мира. Он не смирился и не свыкся, а просто подготовился безо всякого ропота. Такая жизнь доставляла ему радость и оказалась насыщенной истинным богатством, ежечасным, ежеминутным. Он знал, что нужен. У того, о ком он думает, есть на него свои виды. И виды на Эрика. Иначе зачем давать ему чудо рождения среди черных пауков? Кем станет Эрик, если это так? У него должно сложиться такое будущее, которое задаст иной образ мира, нежели зашторенный куб черных гавкающих пауков. Пусть это будет мир с тенями и полутонами…

И тут Яшу должно было смутить противоречие – с одной стороны, каждый новый божий день приносит ему облегчение и радость уже тем, что приближает их с Идой к встрече душ. Его душа должна встретить душу его любимой по-

ловины. Во встречу их душ он верит всеми органами веры, открытыми ему. И вера тут хорошая, ясная. Это радость. С одной стороны. А с другой стороны, та, другая радость – ее обычно люди, погруженные в себя, принимают за радость от жизни. Дар жизни. Как быть с ним? Ведь дару жизни предписано радоваться, какой бы она, жизнь, ни была! Так гласит слово Божье. Но Яше Нагдеману совсем не сложно преодолевать противоречия логики – он придает логике подчиненное, вспомогательное значение. Не обязательно отвечать «да» или «нет» на заданный тебе вопрос. Можно помолиться и получить ответ, ничего не выбирая и ничего не отвергая. Ответ редко требует слов. Вообще ничего не требует. Слов требуют люди.

А молитва у Яши Нагдемана особая, своя молитва. У него было время соткать свою молитву. Когда звуки этой молитвы, произнесенной Яшей нараспев, достигают ушей маленького Эрика, его личико озаряет улыбка, которую Яша угадывает в темноте. Пан Штраха, или теперь герр Штраха и его жена фрау Штраха нет-нет а заходили в комнату во время его молитвы, и тогда они не выходили обратно, в свои покои, а садились в уголке и тихо слушали, как старички в церкви. Молитва – старит? Хотели ли они поскорее к Нему, наверх? Рав Яша Нагдеман думал и об этом. Плечи пани Штрахи сникали, ладони ложились на выпуклый живот. У нее не было своих детей… Яше думалось, что эти состоятельны люди опасаются будущего. Зачем опасаться?

Но вот настал день. Тот день. Супруги Штрахи оба вошли в комнату, и вошли не так, как раньше. За ними ворвался свет из их покоев. Их крупные лица были круглы и одинаковы, как у близнецов. И одинаково встревожены. Лица. Такие лица прорываются из людей, которые долго ждут одной беды и готовятся к ней, а происходит другая. И они не вполне уверены, беда ли это. Они тревожатся, что же выпадет на их долю… Не разлука ли? Что близнецам страшнее разлуки?

Яша увидел их лица, и тоже встревожился.

– Они придут сюда? – спросил он, повинуясь минутному приступу страха и неверия.

Штрахи дружно замотали большими головами.

– Они уходят. Они бегут, – ответили они шепотом.

Как ни осторожны были их губы, а Мойша услышал и, как ни учили его не повышать голоса, воскликнул:

– Уходят!

Штрахи нахохлились, как птички, испуганные резким опасным звуком, а Яша улыбнулся. Он знал, что наступит ЭТОТ ДЕНЬ. Хотя был убежден и в другом: этот день может не наступить, и ОНИ не уйдут, пока он, Яша, и другие, как он, не переменят себя к лучшему…

Что есть абсолютное зло? Многие сочли, что познали зло в чистом, выделенном виде. Зло 999 пробы. Но Яша пришел к выводу, что абсолютное зло недостижимо, пока у него, у Яши, еще есть душа.

– Они уходят. Мы должны бежать вместе с ними.

Тут изумление безжалостной пощечиной обрушилось на Яшу. Новый свет жег глаза, и они прослезились. Зачем им уходить? Зачем из собственного дома уходить этим замечательным людям, да ещё с НИМИ уходить? Зачем? Штрихи знали, зачем уходить. Надвигаются русские. Для русских, для русских, для русских и для партизан семья Штрахи – пособники. Как пособники?

– Я расскажу, чьи вы пособники, добрые мои! Вы вот Его пособники, – указал он прозрачной ладонью на нить света.

Штрахи согласно и грустно покачали копнистыми сферами. Яша Нагдеман слаб в их чёртовой жизни. Для того, чтобы укрывать Нагдеманов, для того чтобы в их замечательном доме не разместили какого-нибудь полковника Шпака или Шлюка, им надо было оказывать знаки внимания самому фон Штофу. И это известно всем, и теперь эти знаки не стереть из памяти людей. Так что эвакуация. Завтра. Штрахи заплакали. Пан Штраха прижал к вздымающейся груди Мойшу. Пани Штраха приподняла Эрика за подмышки и поцеловала в макушку, ещё пахнущую младенчеством. Детским льняным мылом.

– Мы посмотрим за домом. А когда все уладится, вы вернётесь, – осознав бесповоротность происходящего, пообещал Яша.

– Да, конечно. Конечно, уладится. Да, присмотрите…

Штрахи огляделись вокруг себя, обошли рассеянными взглядами высокие стены, потолок с барельефом. И опу-

стили головы. Пришла пора собирать вещи. Нажитое добро из обеспеченного дома немцы готовы вывезти. Движимое имущество.

На следующий день Нагдеман и его сыновья остались в доме одни, и затем ещё двое суток, не смыкая глаз, слушали однообразные звуки, сопровождающие организованное, но быстрое отступление немецкого гарнизона и следующего с ним обоза.

Так Яша остался распорядителем дома Штрахов. Несколько дней молодой раввин, уже без Штрахов и без немцев, чьи каблуки перестали тревожить мостовую под окнами, оставался в темной комнате, в молитве за хозяев. Канонада и треск очередей не разорвали прочную ткань этой молитвы, но когда воцарилась тишина и держалась долго, то с каждой новой минутой этой тишины труднее и труднее стало ему возносить к богу звуки, к которым он привык. Как будто воздух густел вокруг него и превращался в воск. И одно желание овладело им, одно движение, на которое он никак не мог решиться, как будто за ним последует Судный день – сорвать штору.

Глава 4. О том, как два немецких солдата не стали дезертировать

Два солдата разбитого вдребезги Н-ского пехотного полка, прикрывавшего на восточном выступе пригород Браслово, избежали пленения красными, которые стремительным ударом проломили их оборону – два солдата ночами пробирались к своим. Ефрейтор Курт Руммениге, родом из баварского Фюссена, и рядовой Эрих Бом. Курт, годами и опытом побогаче, настаивал, чтобы двигаться на северо-запад, где перед красными будет выставлена непреодолимая стена. Поэтому, если повезёт, вскоре они достигнут линии фронта, а там, дай бог, переберутся на свою сторону. Но Бом возражал. Эрих Бом не был типичным берлинцем, он не любил и не умел спорить, избегал говорить на «шнауце» – громком гортанном столичном диалекте, который отец Бом называл «голубиным». Эрих Бом не прославился в спорах. Но умел держать упорную оборону. Эрих Бом был уверен, что им надо держать путь южнее, как раз в сторону Баварии.

– Ты дезертир? – прямо задал вопрос Курт, когда между ними произошло выяснение отношений.

– Ты идиот? – в тон старшему товарищу парировал Эрих.

Длинноносый Курт был плотнее, его тело на коротких ногах с крепкими икрами, выглядело массивным и мало-

подвижным, но впечатление обманчиво. Икры этого парня с детства приспособились к долгим пешим переходам по горам Альгоя. Эрих был сухощав, высок, для немца у него были большие ступни, которые мешают долго ходить, но помогают крепко стоять на ногах. Рыжая жесткая бородка, серые внимательные глаза, короткий нос – счастье боксера. Выяснение отношений происходило в глухой вечерний час, в цоколе двухэтажного дома, где ещё недавно теплилась жизнь, и на первом этаже велась торговля всякой мелочевкой, а в цоколе до сих пор пахло клеем и бумагой. Эриху нравился знакомый мирный дух, который напоминал о школе и перебивал едкий запах гари, наполнивший апрельский воздух – избавления от гари не приносил ветер, дующий в эти дни с востока. Зато Курта канцелярский запах нервировал, как, впрочем, и многое другое, но в подвале нашлись несколько галлонов чистой воды, которую продавцы для каких-то целей держали про запас. А еще бутыль вина и галеты. И полно свечей. Во всем доме, похоже, не осталось жильцов, крышу пробил снаряд красных. Но обмен мнениями все равно проводился полушепотом.

– Ты идиот? Я предлагаю идти в твои родные места, от линии фронта подальше. Посытнее по пути. А там ты успеешь доложиться о возвращении в строй в комендатуре, и тебя разом вернут под ружьё, дадут медный крест, повысят в звании и отправят защищать наши рубежи, командовать такими как я. Только до твоих мест ещё надо добраться, – разразился

длинной речью обычно немногословный молодой человек. А баварец смерил его взглядом.

Курт провёл на Восточном фронте целых три года, в отличие от этого сопляка, и считал себя выше Бома на десять голов. И его взбесило, что сопляк, которого судьба случайно прибила к нему в спутники, смеет возражать, да ещё как будто насмехается над ним и над всеми ими. Но не резать же его за это, как поросёнка! Все-таки вдвоём пробиваться полегче. Дать бы по уху урока ради… Не стоит. Шум, возня ни к чему. Кто знает, не ходят ли уже по пригороду красные. По улочкам Европы. К тому же, опыт подсказывал Руммениге, что берлинец перед ним хоть и сопляк, да не тряпка. Тут и сдачи можно дождаться. Руммениге отхлебнул вина из горлышка и передал бутыль в руку своего визави. Он собрался с мыслями. Загорелый лоб, чёрный в сумерках, наморщился. Что ж, рассудил он, насмешка – это раздражение, и оно объяснимо – кто ждал, что красные с севера обойдут оборонительные укрепления с замаскированными батареями, про которые штабные пели, будто они неприступны. Эх, штаб… Был бы сопляк не свой, окопный, так точно заполучил бы в пятак мохнаткой, а то и ножик под ребро. Бараны!

– Послушай меня, Эрих, ты, может статься, учёней Курта, и по карте Мюнхен ближе Берлина. А только Курт Руммениге на войне пуд соли съел. Раскинь мозгами – красные отсюда попрут не на север. Они попрут на Вену – там их лакомый кусок. Они-то захотят в Баварию, где наши заводы. Пер-

вое, что они сделают, это попытаются перелезть через Дунай и Мораву – а там наши, я надеюсь, подорвут мосты. И что мы будем делать без мостов? На красные понтоны пересядем? Возьмите нас задаром? Нет, Бом, нам надо брать на север, к Праге. Там ворота на Берлин, туда они не сунутся… Не скоро сунутся, поправился он, – там наши им выставили стальной кулак. Берлин брать не будут. Как-нибудь мир подпишут, а мы в строю.

Руммениге остался доволен собой и своим стратегическим мышлением. Но на Бома его аргументы возымели не то действие, на которое он рассчитывал.

– Послушай, Курт, русские в Варшаве. Они уже давно в Варшаве. Ворота на Берлин там. А военные заводы – в Брно. Охота тебе семенить за русскими армиями на север и глядеть из подворотен на наших пленных, пока не нарвёмся на патруль? А с мостами твоя правда. Давай поступим так: переждем тут, в городе. Русские будут торопиться, они восстановят мосты. А мы обзаведёмся одеждой, картами и двинемся потихоньку. Я за крестом не спешу. А если русские, как ты говоришь, нарвутся на стальной кулачище, который наша берлинская ставка держит пока почему-то в кармане, то нам и идти долго не придётся.

Эрих сделал ладонь ковшиком, вылил на неё немного вина и поднёс к носу. Кисло. Ему не хотелось никуда идти. Не успев толком повоевать, он успел устать от вони войны, и от потного Руммениге он тоже устал. При этом, он отдавал

себе отчёт в том, что с баварцем ему надо держать ухо востро. Кто его ведает, может, он в самом деле из идейных или хотя бы из сознательных. Что им не сиделось, не жилось в их сытой Баварии!

– Да. Вернутся и расстреляют нас за дезертирство и трусость. А то и повесят, чтобы патронов не тратить на таких умников, – пробурчал Курт, но его уверенность в собственной правоте оказалась поколебленной.

В скорое возвращение Вермахта он не больно верил, испытав сам, на каком ходу прут красные, с какой отчаянной и умелой хваткой. Научились, Juden *(нем.: евреи)*. Поэтому предложение найти карту и обзавестись документами не столь глупо. Курт похвалил себя за выдержку в споре с сопляком. Он потянулся за вином.

– Найти карту – плёвое дело. А если поискать среди местных покойников, то найдём и гражданские документы.

Тут уже Эрих отдал должное Руммениге. Ума у того не густо, зато хитрости – на двоих. Ещё бы к документам и карте – спирта вместо этой австрийской кислятины, и можно вытерпеть такого спутника. Все же вместе пробиваться и пробираться проще.

– А ещё лучше, если запрыгнем на загривок кому-нибудь из местных, поприжмем, подоим, а уже потом уйдём с документами. Ведь кто не ушёл, тот с красными, верно я рассуждаю? С этим спорить не станешь? – развил свою мысль Курт, подкрепившись таким обильным глотком, который ед-

ва не опорожнил до дна вместительную бутыль.

– Так, – кивнул Эрих Бом, хотя не был с этим согласен. К тому же, он не убийца, не грабитель, а солдат, пусть солдат не самый бравый и почти побеждённый. Но хватит споров. Позже доспорим…

Ощупью, двориками, они двинулись на западную окраину, поближе к Дунаю.

Глава 5. О том, как Яша Нагдеман познакомился с комендантом

Яша Нагдеман дрожащей рукой сдернул штору, и она с хрустом рухнула, подняв над собой сноп золотистой пыли. Из пыли заново рождается свой мир, когда на нее падает солнечный свет… Пусть за окном моросил дождь, небо затянули неподвижные – надолго – тучи, но вид открытого небу окна так подействовал на Яшу, что тот, отшатнувшись, упал на пол, как от удара в лоб. Это и был удар. Это и был удар. А когда Яша, очнувшись, приоткрыл веки, и глаза привыкли к свету, он увидел пауков. Настоящих живых пауков. Пока царили сумерки, их по углам, на высоте, не было видно, и их присутствие только угадывалось в миражах под потолком, – а теперь обнаружилось, что они сплели там заслуженные паутины и жили себе в близком соседстве с Нагдеманами. Они тут были у себя дома. На тех же правах, что и Яша. Такое наблюдение возымело на Яшу своё действие. Он усадил вокруг себя детей, сообщил им своё решение, собрал пожитки, и Нагдеманы покинули жилище Штрахов. Яша чувствовал себя листом клена, сорванным с дерева. Лист беззащитен, его гонит ветер. Или свободен. Смотря как относиться к ветру. Дети, не прекословя и не задав вопрос, следовали за ним, столь убежденным и простым было в тот час

его скуластое продолговатое лицо. К тому же и их поразил свет неба. И сильного памятью, умного и не по годам рассудительного Мойшу, и Эрика, который ещё никогда не видел неба. Яша Нагдеман не знал и не мог знать, где сейчас советские войска и что у них на уме, – он только слышал русскую речь, которая нет-нет, а доносилась с улицы. Но для принятия решения ему не потребовалось молиться. Вот оно, достижение, сделавшее годы, проведённые в доме у Штрахов такими насыщенными и важными – он столько молился, что освободился от зависимости, от необходимости в молитве!

Яша Нагдеман направился не в свой прежний дом, что был поблизости от большого особняка Штрахов. Зачем идти на пепелище? Он повёл свою семью туда, где когда-то жил его дядя, начитанный человек, Гуга Нагдеман. Штрахи говорили, что дом Гуги цел. В том доме он сам вырос, и если дом действительно уцелел, то может послужить пристанищем для Яши и его сыновей. Дорога была долгой и путаной. Прохожие едва обращали внимание на эту семью, похожую на семьи других погорельцев в те дни. Кто только не встречался на пути – венгры, поляки, румыны, греки, болгары. Откуда-то – кучки притихших, как мухи после зимы, и только начинающих шевелиться, цыган, этих вечных носителей движения. Одна словачка, увидев, что Яше тяжело тащить и мальца, и суму на себе, отдала ему инвалидную коляску. Яша взял. Военным со звездочками Нагдеманы тоже были не интересны. Ясно, что не шпионы и не беглые эсэсовцы.

Вот и дом Гуги Нагдемана. Стоит целехонек. Не все стекла выбиты, звезды Давида, появившиеся на стене ещё до того, как в город вошли немцы, были едва заметны – фасад был покрашен заново и на нем красовалась яркая вывеска. Цветет вишня. Как будто ей все равно, кто ей владелец, Гуга или Ганс… Кто-то при немцах занял дом Гуги и стал там продавать сувениры, карты, значки. Яша остановился перед большими дверями, в шаге от них. Он опустил на землю поклажу. Силы, казалось, готовы были оставить его на пороге.

«Ты пришёл сюда, ты дошёл сюда – так соверши то, ради чего шёл. Войди в свой дом», – приказал он себе и не сдвинулся с места. Его борода намокла и обвисла, а теперь вода стекала по позвоночнику, капли заносил за шиворот косой дождь.

«А если дверь заперта? Как войти? А если там, за дверями, ещё находятся те, которые заняли место Гуги?» – полезли в голову мурашами дрянные вопросики. Они лезут только на слабого. И тогда Мойша помог отцу, впавшему в оцепенение. Маленький человек вместо большого подошёл к двери и дернул за ручку за массивный золоченый Griff, уцелевший во вселенской смуте.

Подчинившись слабой силе, ворота Гуги приотворились, оттуда, из глубины, пахнуло сладким, тем, чего ни Мойша, ни Эрик не помнили, да и Яша забыл. Семья зашла в дом. Он был пуст, но чист. И он ещё хранил некоторые предметы, которые знали руки прежних хозяев. Скрипучее ко-

жаное кресло. Дядя придумал для него имя, но оно забылось… Чернильница и перо. На нем отпечаток дядиного указательного пальца… Гуга обожал подписывать бумаги именно этим пером. Яша Нагдеман решил остаться здесь. Осмотревшись, разобравшись и поразмыслив над нынешним и грядущим, молодой раввин оставил Мойшу и Эрика обустраиваться, а сам поплёлся на поиск комендатуры. Его начальство на небесах знает, что он, Яша, выжил. Но если об этом не узнает какое-то земное, а не небесное управление, то Нагдеман и его дети сгинут с голода.

Ни у кого не спрашивая, где эта комендатура, чья она и есть ли такая вообще, он вышел к площади, к зданию, над вратами которого полоскался на ветру красный флаг. Внутрь его не впустил караульный, но красные солдаты или офицеры, услышав, как Яша худо-бедно объясняется по-русски, подсказали, куда топать по его нехитрому делу. Военные с удовольствием, браво выговаривали слово «Ausweiss», дополняя им банальное существительное «документы». По звонкому, как копыто по брусчатке, их выговору Яша заключил, что красные, дай им бог, дай им Бог, не задержатся тут, и скоро, скоро они двинутся на Берлин, им не терпится на Берлин, и мыслями они там, в Берлине. И в канцелярии, что оказалась разбита в куда скромнее домишке, чем особняк под флагом, раввину сопутствовала легкая удача. Безо всякой очереди, без запаха обездоленности, он оказался в начальственном кабинете. Начальник, комен-

дант, был молод, едва ли старше самого Яши – хотя Яша выглядел стариком – и не такой, каким до войны представляли красных. Чистый мундир, стрижка, ровно подведённая линия бачков и усов. Взгляд ничем не выдавал человека, который в каждом видит классового врага и мысленно ставит к стенке. Капитан Новиков выслушал историю Нагдемана со вниманием и все возрастающим удивлением, его усталые, болотного цвета, глаза как будто предлагали успокоиться и, не торопясь, излагать подробности – время от времени военный брал те или иные пассажи на карандаш, изредка переспрашивал. А когда Яша замолчал, Новиков покачал головой и подвёл итог – удивительная история, товарищ Нагдеман!

– Удивительная. Боюсь, Вы первый еврей освобождённого Браслово. Это история для фронтовой газеты. А то и выше бери – эх, заехал бы к нам товарищ Эренбург! Живите, я проверю то-другое, а пока выпишут вам временные документы. Дал бы я Вам солдатика, чтобы какая сволочь не помешала Вашему хранителю, да нет у меня ни одного вольного воина. Никому не говорите – я очень рад за вашего хранителя.

Капитан Новиков выдал «папиру» Яше, а отпустил не сразу – чаю налил и сахару осколок в придачу. Яша долго разглядывал на ладони сахар, водя налево направо головой, в такт качавшемуся маятнику настенных часов. Яша улыбался.

– Что улыбаетесь, товарищ? – улыбнулся и военный.

– Это жизнь, – отозвался Яша. Он продолжал заворожено глядеть вниз.

– Почему так? Чья жизнь? Ваша жизнь?

Яша молчал. Не дождавшись быстрого ответа, капитан Новиков смекнул своё, произвёл над столом быстрое и шумное, сопровождаемое стуком, действие и в Яшиной руке оказались вместо одной три льдинки.

– У Вас, товарищ, два сына. У меня – пока один. И он далеко. Очень он отсюда далеко.

Яша поднял глаза на красного офицера. Никакой он не красный. Он серо-зелёный. И он хочет поделиться рассказом о себе, о сыне. О сыне. Но Новиков замолчал. И передал Яше маленькое зеркальце.

– Мы с Вами одного года выпуска, – на прощание произнёс он, и сам углубился в думу. Лицо его на миг превратилось в зрелый и твердый грецкий орех.

Яша переложил сахар в другую ладонь и взял овал, ловящий и перенаправляющий солнечный свет. Ему понравилась форма овала, и он давно не держал в руке такого простого, удивительно красивого предмета. Почему-то все зеркала, оставшиеся в доме Гуги, были прямоугольными, как будто в овале содержался некий намек, недопустимый в набожном семействе Нагдеманов… Но глядеть в зеркало Яше не хотелось, он имел представление о том, что увидит в отражении. И он перевёл взгляд на окно. В окно падал свет,

сочный свет, вот-вот родившийся после дождя и в неведение, что такое дождь. Новорожденный свет, светло-розовый. И Яша поднялся из-за широкого стола. Он оказался высокого роста, выше Новикова. Вытянув руку, он поймал ей солнечного зайчика, направил его на столешницу, на «папиру», полученную от капитана, чей глаз ожил зеленью и метнулся за зайчиком. Оба улыбнулись. Таким стало их знакомство.

«Какая вялая, бессильная ладошка у этого еврея. А сколько он всего сумел вынести»! – такой уважительной мыслью Новиков проводил из кабинета Нагдемана.

Он задумался над тем, как создавать «слабые», без дорогих сплавов, но вот такие прочные конструкции, способные выдерживать нечеловеческие нагрузки. Не человек, а питерский мост… Капитан замыслил после войны идти в строительный или даже в архитектурный и имел на этот счёт свои виды…

Глава 6. О том, как Нора Нагдеман не подпускала к мужу Эриха Бома

Нора Нагдеман на двадцать лет моложе мужа. Но порой она ловит себя на материнском отношении к нему. Ребёнок бывает наделён особой проникновенностью и обаянием, за что его хочется и тискать и целовать. Но, случается, он – головастый талантливый мальчик, – создаёт жизненный план, свой собственный план, и, ему следуя, плутает в трёх соснах, пугается и принимается плакать. Вот когда его следует взять за ручку, вывести на свет, за собой, погладить по макушке и дать совет, который будет им услышан. Нора – пока ещё стройная, высокая, видная женщина. Кто-то из журналистов назвал ее яркой, и ей этот признак понравился.

Нора выросла в Аргентине. В отцовском доме. Пока не встретила выдающегося мужчину. Выдающегося музыканта. Многие знакомые отца увлекались «музыкантством». Но с перст этого полубога мелодия стекала то розовой водой, то капельками слез, то крупинками жемчуга. И падение каждой слезинки слышно было отдельно от других слезинок. Нора, тонкобровая, горбоносая эстетка, влюбилась. Ее отец, не последний человек в аргентинской еврейской общине, говаривал жене, которую всегда окружали буйнокровые красавцы: любовь входит через макушку, а выходит через низ

живота. Не обратным путем. У отца – благородное лицо, седые усы, большие ладони и мягкий тёплый живот. А как он пел! Никто лучше него не мог спеть песен синти, песен европейских цыган…

Эрик на ее отца не похож вовсе. Он сухощав, много времени уделяет изнурительной, на ее вкус, гимнастике, он медитирует, не признает усов и бороды и, по примеру брата-математика, держит лицо «чистым», он избегает рассуждать на темы «откуда выходит и куда входит любовь» – вступать с ним в отвлеченные рассуждения об этом бесперспективно, равно как и о курсах акций на бирже. Даже если это их с Норой акции… О музыке он тоже в быту говорит без большой охоты. С Эриком можно говорить о детях. О здоровье и достижениях медиков. За этими достижениями он следит, и даже, иногда ей кажется, следит преувеличенно. Это черту подметили другие. И вот сейчас, в эти минуты, слабостью мужа пользуется жук-немец, поедающий широкими челюстями время великого музыканта, как никчемную гусеницу. Нора страстно переживает за мужа…

С журналистом из Берлина, который правдами и неправдами добился от неё интервью с Нагдеманом, Эрик засиделся в VIP-номере венской гостиницы «Бристоль» едва не за полночь. Жене слышно, как мужчины обсуждают медицину будущего, излечение раковых клеток и омоложение тканей костей и кожи и серого вещества. Бред! Она все-таки не вмешивается и, скрепя сердце, вслушивается

в восторженные возгласы, доносящиеся до неё из гостиной на нелюбимом ей немецком языке. «O, die Chinesen! O, diese Genchirurgie». «Перспективный мужчина всегда интересуется здоровьем», – вспоминает она фразочку деверя, Мойши Нагдемана, у которого не поймешь, то ли он всерьез, то ли с издевкой… И такое воспоминание злит ее в положении ожидающей. Напрасно она допустила к мужу немца. Пусть бы они говорили о музыке!

Да, Нора, сходясь с Эриком Нагдеманом, не знала, что тот окажется так чуток к сквознякам, к мучным и молочным изделиям, что головная боль превращает его из гения космоса в печального ипохондрика. Она, нормальная девушка из 70-х годов прошлого века, сильнее его. А ведь хотела в семье чувствовать себя как в отечестве… Хотела бы. Но аромат таланта, исходящий от Нагдемана, но изящество силуэта, подобного высокой виолончели на сцене в Буэнос-Айресе, возымели над ней такую неодолимую силу, что она сразу узнала – она любит именно этого человека. Так в неё вошла любовь, через макушку. А раз вошла – теперь охраняй. За годы, проведённые в охране, в боевом охранении по периметру мужа, Нора сумела справиться с влиянием сквозняков и мучных изделий, и, по большому счету, со всякими прочими влияниями извне. Пожалуй, за тремя исключениями. Первым было влияние музы и музыки. Вторым исключением был старший брат. Мойша. Нора тщательно скрывала от других, но не скрыла от себя, что ей не по душе наблю-

дать то, с каким вдохновением и вниманием слушает, нет, внемлет брату ее муж, тогда как в ее глазах Мойша – чудик, человек способный, да путаный. То и дело он предъявляет Эрику претензии, критикует его творческие взгляды, к чему-то побуждает… Эрик ей говорит, будто Мойша задаёт очень высокую планку – а ей-то видно другое. У мужа и так планка – некуда выше. Брат смущает его заумью по привычке с детства главенствовать. Вот только с влиянием Мойши на Эрика Нора ничего поделать не смогла. Раз за разом лицо ее, крупное, красивое, выразительное, приобретает расстроенное выражение, стоит мужу поделился мыслью, почерпнутой, как Нора угадывает, от Мойши… Но есть и третье исключение, самое опасное. Нора не в силах одолеть влияние времени, и оттого достойная женщина боится его. Она терпеть не может те вредоносные микроорганизмы в их среде, которые во временное превращают вечное – журналистов.

Нора слышит возгласы из гостиной номера люкс, и всеми силами рассудка старается удержать себя от того, чтобы не появиться там, не положить конец аудиенции у господина Нагдемана. Прощелыга с косичкой ее обвёл вокруг пальца, убедив, что у него только три вопроса, не касающиеся ни музыки, ни личной жизни. «Ответов Нагдемана на эти вопросы мироустройства ждет читающая Европа»! Она купилась на словосочетание «читающая Европа»! Все-таки сказалось происхождение. Отец грезил Старым Светом, а их Новый Свет считал провинцией. Прилипчивый и коварный проще-

лыга! Теперь кричит про какие-то выстрегазы и нейропептиды. Остаётся только подождать, когда же в немецкой прессе появится простыня с перечнем всех медицинских страхов великого музыканта. И это за день до выступления перед избалованной не по заслугам публикой Вены! До выступления, которое Эрик перед поездкой называл в разговоре с ней самым сложным в своей карьере. Почему? Она уже не помнит. Какая разница, это ведь просто волнение. И она постаралась успокоить его. Но он доверился ей. А она? Она не утроила охрану! Да, она сожалеет. И приложит все усилия к тому, чтобы помешать в эти сложные дни встрече мужа с другим немцем. С Эрихом Бомом.

Через всю жизнь Нора несёт неприязнь к немецкому народу и всю жизнь сторонится немцев. Эрих Бом – не исключение. Тут – это она знает точно – дело не во влиянии на мужа, тут в ней оживает физиология. Физиологическое недоверие к немцу поднимает голову, – словно старый сторожевой пёс, – стоит немцу приблизиться к их очагу. Это четвертое, но особое, исключительное исключение. Всю жизнь Эрик Нагдеман перечит ей в одном – в дружбе с Бомом. Тут бессильны ее женские чары, уговоры, требования, ее миссия опекунши и ближайшего друга. Эрих Бом – желанный гость Эрика. Эрик проводит в воздухе резкую черту, и едва слышным голосом человека, который не считает нужным говорить громкие слова, чтобы обозначить невозможность его переубедить даже угрозой всемирного потопа. Он может в тысяч-

ный раз постараться объяснить, что Эрих Бом – антифашист, заслуженный человек и достойнейший его старший товарищ и друг. Нора знает это, но пропускает доводы мимо ушей. Бом – немец.

«Эрик, какой он тебе друг! Он стар, как дерьмо мамонта, и пахнет от него старым немцем. И глаза у него как у черта лысого, разноцветные, один глаз серый, а другой – водянистый, будто из стекла», – так и хочется выкрикнуть мужу в лицо в такую минуту видной, дородной и уверенной в себе и своём будущем женщине, жене знаменитого музыканта. Что это, как не расизм? Но ей богу, она не самая страшная и унылая из расисток, и бог нам судья…

Нора только подумала об этом, как телефон Эрика Нагдемана залился трелью. Она знала эту мелодию. Это Бом, легок он на помине! Женщина движением столь быстрым, что не всякая молодая оказалась бы на такое способна, набросилась на телефон с подушкой и приглушила его. Потом взяла трубку.

«Нет, Эрих, у него интервью. С немецким журналистом. Ах, как всегда, очередной пройдоха. Седой уже, а с косичкой. А что надо? Прилетаешь? Надо же… Эрик перезвонит тебе. А сразу, как сможет. Как твое здоровье, герр Бом? Хочешь успеть на венский концерт? Жаль, у меня закончились все контрамарки. Очень, очень сложная организация. Эрик нервничает, я вижу. Он впервые сыграет собственный концерт для виолончели с оркестром в Е. Я вижу, что он подхо-

дит к своей лучшей форме, но ему тем более нужен и покой, он очень много работает. Я волнуюсь за него. А тут немец буквально сосет из него кровь. Ах, Эрих, извини, ты же тоже немец!»

«Вот стерва! Она его экспроприировала. И Эрика, и его телефон». Бому видится надменная усмешка на ее крупных цыганских губах, крашеных помадой кирпичного цвета.

«Наконец-то я тебя сделала, старая развалина Бом»!

Он кладёт трубку.

Эриху Бому всякий раз становилось не по себе, когда он сталкивался с Норой. Эта женщина при младшем из Нагдеманов с настойчивой последовательностью разогнала вокруг виолончелиста и дирижёра всех менеджеров, работавших с ним, и стала его импресарио. Теперь единолично распоряжаясь временем мужа, она принимала при этом такой страдальческий вид, как будто ее вынудили к столь унизительной роли мздоимство одних, пройдошество других и, конечно, наивность Великого музыканта. Эрих Бом не верил Норе ни на йоту. Уж он-то в людях-человеках научен разбираться долгой, петлистой жизнью. Чело-веко-вед – так зовёт его профессию русский знакомый, Вадим Власов. У Вадима специфический, но точный юмор. Его Эрих тоже читает вдоль и поперёк, пусть тот и чин в СВР. Эрик – человек не наивный, пусть и витает по призванию и профессии в творческих эмпиреях. Эрик отдал на откуп женщине с орлиным профилем и гипертрофированным, как хвост у си-

бирской белки, охранительным инстинктом, своё тело, руки, славу и кошелек добровольно. И поступил умно. У них прекрасные дети, и сердце Эрика Нагдемана тоже принадлежит их матери. Но не мозг! И не память. И не высшую сферу мозга, ту высокогорную его вершину, которая прорывает прекрасные облака, дающие земле сырое тепло, и касается холодным ледяным окончанием той разреженной среды, что не знает как таковой ни музыки, звуки которой туда не доносятся в привычном нашему слуху тоне, ни славы, ни таланта, – этого древнего джина, этого служителя глиняной амфоры, из которого люди плоскогорья и теплой плодородной долины сделали идола и которому поклоняются. Та сфера ей, Норе Нагдеман, Эриком не отдана. И тоже по уму – она там задохнётся от недостатка элемента, который способствует окислительным процессам в простом охранительном организме…

Нора Нагдеман высшим из высшего чтит талант. Надо ей отдать должное, талант она ставит выше успеха, она и готова и могла бы идти за мужем в ущелье непризнания и бесславия. Она готова остаться единственной ценительницей его музыкального дара. Ему поклоняться, опекать его, по-своему служить ему. И это хорошо. Хорошо для них, Эрика и Эриха. Для их отношений. Эти отношения живут там, где у таланта нет столь высокого статуса. Он, Эрих Бом, с дальнего аэродрома поднимается в воздух, берет разгон, махнув крыльями земле, попеременно левым и правым, и уходит

на высоту. Там уже, где взгляд женщины – охранительницы упирается в облака и видит в них тучи, он сближается с вершиной, и кружит над крохотной лысиной – вот так они дружат, девяностолетний старик и семидесятилетний юноша. Да, Эрик Нагдеман – не наивный небожитель. Виолончель Эрика – не волшебная флейта. Это оружие. Это автомат Калашникова. Им он отстреливается от наседающих проклятых вопросов.

В жизни молодого товарища Бома страшен момент, когда приходится отставлять в сторону оружие, заканчивать концерт или репетицию. Смолкает музыка. А вопрос остаётся перед ним – почему он не верит так, как верил его отец? Что в нем не так, если ему не подарена такая вера, и не найдено за долгую жизнь то, что обнаружил в себе с юных лет Яша Нагдеман, его отец… С Норой Эрик об этом не говорит. Ни с Норой, ни с детьми. В их глазах он стал обладателем верховной власти, и мировая слава тому подтверждение. Был Мойша, но с ним Эрику не поговорить. Мойшу он слушал. Внимал. Таки было кого послушать, как говорят евреи, пусть не из Аргентины, а с Украины, а это две большие разницы…

Вся жизнь Бома связана с евреями. И Мойша, если исключить исключительное, если исключить Яшу Нагдемана, – если ему, Бому, дано сравнивать и судить, – самый достойный среди них. Мойша Нагдеман был занят глубочайшей проблемой – проблемой пределов мысли. Он любил приводить аналогию с солнечной дорожкой – каждому наблюдателю кажет-

ся, что дорожка идёт от Солнца к нему, но это лишь потому, что наблюдатель видит только лучи, отраженные в его сторону. И в этом его спасение – не знать всего бога. К такому выводу пришёл математик Мойша Нагдеман, старший сын раввина Яши Нагдемана. Этот вывод он как-то постарался втолковать и Бому, но Бом не смог его понять в полной мере, Бому даже в старости вывод надо пощупать руками, пальцами, послесарить с ним, поплотничать. Он, Эрих Бом, для эвристики слишком немец. Но он помнит слова Мойши, звучащие в его ушах парадоксом: мозг – это орган, а наука – его механизм защиты человека и социума от избытка информации. Наука – это кажущаяся логика. На самом деле – это солнечная дорожка к человеку и его формации, а остальное знание, виденье, скрыты. То есть наука нужна, но не как точное знание, а как функция защиты мозга от избыточного виденья.

Бом помнит и другое – Мойша убеждал не его, а младшего брата, что не наука средство познания, а искусство. Искусство в идеальном виде – единственно доступный путь к цельному, оно проясняет по образу и подобию, и поэтому оно циклами возвращается к одному и тому же – как и человек. Наука – явление на самом деле физиологическое для рода человеческого, а искусство, в идеале, как раз дело высокого нравственного идеала. Поэтому Мойша признает единственное в искусстве – иконопись и Баха. И за это Нора боится деверя. Старик Бом прочитал женский страх на её лице, как

по нотам читает Эрик мелодии эльфов. Мойша – изгой. Мойшу терзает и изъедает вопрос – как евреи допустили ЭТО, как не воспротивились. Как коровы – послушно допустили себя перерезать. Перетравить. И поэтому математик Мойша не верил выводам логики, ума, рацио так же, как и выводам раввинов, объясняющих результаты опыта общей теорией, а не преломлением луча в том или ином частном случае. За то неверие и за категорический страх в чем-либо жизненно важном обмануться и не защитить родного, кровного, младшего брата, Эрих Бом ценил и уважал Мойшу Нагдемана, мир его памяти. Другое дело, что отношения его, Бома, с Мойшей не затвердели в дружбу так, как они сложились с Эриком. Что уж до дружбы, если Мойша Нагдеман за целую жизнь так и не завёл собственной семьи.

Эрих Бом пережил не только Яшу Нагдемана, что вполне естественно, если исходить из прямой арифметики лет и забыть про арифметику войн, особенно ТОЙ войны, – не только Яшу, но и старшего из его сыновей. В арифметике лет – ошибка. Старик Бом помнит Яшу так, как никто его не помнит. Лоб Бома, высокий его лоб, теперь особенно высокий и овальный от глубоких залысин, помнит прикосновение двух тёплых дрожащих пальцев, их подушечек. И даже сейчас, по прошествии семидесяти лет, коже на лбу кажется, что на ней отпечатался сетчатый узор пальца Яши Нагдемана. Его дактилоскопия. И вот об этом отпечатке с ним и только с ним одним может и готов говорить, и долго гово-

рить и молчать Эрик Нагдеман, знаменитый музыкант. Вечный юбиляр, заслышав дальний звук его горна, бросит круг почитателей, презреет недоумение бомонда, отклонит советы бдительной женщины с крупным орлиным носом, и явится перед сухим и плотным, как саксаул, старым немцем Бомом.

Но горн должен быть услышан. А Нора – эта передаст про звонок, как же, жди… Она охотнее съест сало перед миньоном! Надо лететь. Как назло, старые болячки все разом, от желудка до старческой крови, ополчились на Бома. Организм открыл свои шлюзы. В молодости проще было дробить щебень в каменоломне, чем теперь толкать тело из дома в полет… Но как бы в Вене не случилось беды. Сообщение, которое поступило из Москвы, от Власова, Бома не на шутку встревожило. Бремя жизни избавляет от страха смерти. Смерть в дороге ничем не хуже смерти в постели, но надо не умереть, а добраться до Вены и увидеть Эрика. Нужна цель. Цель делает из немца – Немца. Целеустремленность может быть страшна, и даже может нести угрозу человечеству, но у Эриха Бома очень скромная цель – прикрыть от опасности Эрика Нагдемана. Когда-то Эрих Бом понял Яшу Нагдемана. И стал отличаться от обычного немца. Но немцем от этого быть не перестал. Ломая неодолимую, казалось, потребность устроиться на лежанке и дать девяностолетнему телу забыть про движение, Бом немедленно собирается в путь.

***

Нора окончила разговор с Бомом и ещё несколько минут оставалась в задумчивости перед зеркалом. На неё глядело строгое и ровное лицо, немного раздавшееся, но свободное от морщин. Но темные тени на скулах слишком глубоки. «И что ты думаешь? Считаешь, что я должна передать? Что старик никогда так не просил, можно сказать, даже унизился… Что-то важное? А я не передам, хоть осуди меня сам Высший суд. Женщин, жен, за это там не судят! Ну что такого важного может сказать Эрику старик!»

Нора помнит лицо матери. Все соседи твердили, что Нора до боли похожа на родительницу. Но мать из роскошной набожной евреечки превратилась в тетку с каменистым лицом. Она стала одно лицо с бабкой по материнской линии. Лицо и фигура. Так благодаря чему ты, Нора, с годами только хорошеешь? Как это тебе удаётся, дорогая? Чем даётся? Страхом перед тем часом, начиная с которого гены начнут свою подрывную работу, против которой бессильны косметика и гимнастика? Однажды в бассейне, – дело тогда было в Германии – Эрик играл в Дюссельдорфе с молодым веселым русским крепышом, сибирскую фамилию которого она так и не научилась выговаривать, и так самозабвенно готовился, что едва не перетрудил руку, и она сочла за необходимое отправить его в воду, – так вот, в солевой ванне она обратила внимание на трёх женщин с одинаково выполненными глиняными лицами. Они, распарившиеся, сидели в ряд, вода

по плечи, расположившись по старшинству – внучка лет двадцати, сорокалетняя мать и бабушка. Посидев в соли, так же гуськом, они переходили в соседнюю купальню, единообразно разворачивая ступни, одинаково и в такт раскачивая бёдрами. Картофельные носы, продолговатые, как дыня, черепа, наклеенные на глину глаза и рты. Но худенькой ещё внучке аппликация придавала лицу живое и обаятельное выражение, тогда как те же рот, глаза и нос сделали грубым лицо матери, а бабку – уродкой. Нора обратила на трио внимание Эрика.

«Дуновение таланта. Может быть, в этом талант молодости?» – заметил он и погрустнел. А она так не считает. Во внешности женщин очень многое определяет образ жизни. Образ. Жизни. Если бы мать не провела детство в бедном доме железнодорожника и не должна была накрывать на стол пьяницам из депо, до того, как, уже в годах, найти счастье в обеспеченной семье будущего Нориного отца, если бы она вошла в семью великого ученого, а не умного и работящего ростовщика, и на неё в компаниях мужа нисходил бы особый свет творчества, избранничества и таланта, то она все равно осталась бы похожей на ту, которая явлена Норе в зеркале.

А Эрик Нагдеман знает за собой слабину. Да, он чуток к собственному здоровью. Но он – не ипохондрик. Он опасается заболеть и пропустить гастроли.

Но есть и более глубокая причина. Он знает, что еще не встретил своей музыки. И ждет встречи с ней. Мело-

дия в Е. – это только приглашение музе на свидание… Глупо и даже страшно пропустить свидание, банально не уберегшись от хвори… Да, у него с музыкой свои отношения, и об их истинном сюжете не догадывается даже Нора Нагдеман. Он любит музыку, как чужую невесту, которая вот-вот переменится и именно к нему обратит взор полуприкрытых очей… Полуоборота ее неощупанного им, взрослого, несуетного лица он вожделенно ждет… Ждал… И, кажется, дождался. Да, он сам свой строгий критик, этот Эрик Нагдеман. Он не видит в себе величия, он сам говорит себе, что к собственной мелодике только подступает, что сам только созревает до взаимной любви. Да, он придумал себе новую музу почти плоской, как изображение лиц и тел на фресках, на иконах. Он ее такой узрел в один миг, в миг откровения. Миг откровения, которому предшествовали годы трудов. Как на иконе Феофана Грека.

Икону он обнаружил тут, в Вене, в музее, на выставке, которую сразу по приезде должен был осветить своим присутствием. Культурная миссия культурного посла. Или посла культуры… Смешно! Да, смешно и немного неловко было идти в группе таких послов, но кто же из нас выбирает миг касания с собственным истинным талантом…, к тому же именно они – послы – привели его к Греку, и он воскликнул про себя – вот она, моя будущая музыка! Он даже не успел одернуть себя, верующего в общем-то еврея, сына раввина Яши Нагдемана, – а не бес ли тут подыграл, если открове-

ние ему пришло перед христианской троицей! Да, в жизни многое – пограничность, и разные края на самом деле – самые друг другу родные части одного целого, только разрезанные по пуповине… Но Эрик об этом думает сейчас, а не тогда, когда, на миг замешкавшись, завязывая вечно своевольный шнурок парадных туфель, и отстав от других послов культуры и от Норы, гордо шествовавшей впереди пелетона, отрезанный от них промаршировавшей дивизией китайцев, он поднял глаза от пола к долу и… обнаружил себя под иконой. С иконы и сошла муза. (Ей богу, странный привет от Яши Нагдемана. Впрочем, отец, по выражению Майши, не делил свет на спектры)…

Да, вот какой будет музыка Эрика Нагдемана – едва ли не плоской, с выплощенной, как голландская сельдь, в зрелом молоке, интригой. Не взбирающаяся на горы кульминаций и не спускающаяся в долины, чтобы потом снова рваться вверх или падать с трагических круч… Нет, светящаяся над горами и уходящая за них на лунный ночлег по естественному ритму гигантских плоских часов… Уравновешенная универсальным, вневременным соседством гармоний. Жена пока не знала о посетившем его откровении, и уж никак не могла заподозрить мужа в том, что он намеренно скрылся от нее с утомительным немецким журналистом и тратит с ним время на треп о медицине, только чтобы не остаться один на один с самым близким человеком, потому что рядом с ним, с ней, ему не по себе от того, что нельзя заговорить

о таком важном для него, о самом важном…

Глава 7. О том, как Костя Новиков по пути в Вену познакомился с журналисткой

Самолёт набрал ход, но – так показалось Константину – не разогнался как следует, и отталкивался от земли тяжело. «Нехороший знак», – подумалось человеку, не боящемуся летать, но более уверенно сидящему в седле кресла, когда перед ним стаканчик с виски. «Вот черт, времена! И не пыхнуть, и не нальют. А ещё иностранный рейс, австрийские, красноголовые, в алых шапочках и юбочках… дятлы женского рода», – выпустил он пар волнения.

Но вот машина увереннее взмыла вверх, проткнула носом облако, похожее на рыбий жир, чудным образом опёрлась о него распахнутым крылом, над которым, в овальном окошечке, бог увидел бы два серых глаза внимательных Константина Новикова. Если бы присмотрелся. И вот самолёт распластался над кочковатым розовым морем, и двинулся воздушным, уже неспешным ровным шагом, на запад, от светила. Серебристый дельфиний бок отражал его жар. Константин провёл шершавым языком по губам. Хоть бы водички поднесли, если не водочки. Не несут…

«Хлопнул по карману – не звенит… Если только буду знаменит… Да, будешь ты знаменит…»

Нажимать на кнопку вызова ему не хотелось, – это вроде как одалживаться перед красноголовыми… Он уткнулся в иллюминатор, устремив взгляд на розовое море, замершее перед ним в кажущемся безветрии и безвременье. Без ветра нет времени. Почему оно кажется застывшим, ведь это противоречит школьной физике? Не могут ведь облака лететь в Вену с той же быстротой, что и наблюдатель Константин Новиков?

Были времена, он часами глазел на облака, как несутся они, наполняя собой и жизнью небо. Он ложился головой к окну, к открытому окну, запрокидывал голову, так что затылок больно упирался в пупочек стеганого матраса, и так провожал их рисунки на небесном песке. Пахло осенью – облака плыли к морю. Или дышала в комнату вишневым цветом весна, облака тоже спешили к морю. А однажды была зима, и зима злючая. Он прилёг на кровать с мокрыми волосами, после баньки. Луна была желтой, с темными подвижными пятнами облаков, живущих в пространстве между домиком в деревне и космосом. Костя глядел, глядел и уснул. А утром очнулся от зверской боли и обнаружил, что волосы обледенели, виски выламывает, словно то не виски, а суставы, которые выкручивает могучий самбист. Испуг охватил его, ужас был равен боли. В затылке стучала единственная мысль – вот сейчас застынет мозг, и замрёт и она, даже эта мысль. Навсегда. Ужас. В голове замерзнет птичка… Черная и с огромным клювом. А по морю плыло облако, подоб-

ное белому трехгорбому верблюда. Таких не знает природа, в Сахаре не было Чернобыля. Но – что есть на небе, сбудется и на Земле! А облака – это прототипы земных существ. Так говорил все знающий дядя Эдик, хозяин дома.

Эдик был и остался загадочным чудесным явлением его юности и молодости. Он никогда и ни при каких обстоятельствах не приезжал в Москву. Ездили к нему, под Тверь. Эдик пришел на помощь, на Костин крик. Взял Костю за шею, прижал жилистой ладонью так, что о висках как-то позабылось, натянул ему на голову какую-то штуку вроде шапки, и тогда сквозь макушку потекло в мозг и в тело маслянистое небыстрое тепло.

«Ну что, пошёл коньячок в мозжечок? Запомни, Костя, мигрень – это вирус, а мозги застудить невозможно. Только на трупе если. А так – биологическая защита не позволяет. Поэтому, Костя, намотай на ум: мозги загадить проще, чем застудить».

Дядя Эдик никогда не использовал жаргон. Мог матом, но без грязных полулегальных словечек. Это Костя тоже запомнил. «Все, теперь быть тебе чекистом. С холодным рассудком. Сердце-то горячее»? – долго ещё подшучивал над ним Эдик.

Новиков после этого стал заботиться о собственных мозгах. И заботится до сих пор. А облака – облака уплыли с его фарватера. Хотя в Приднестровье, на войне, он часто бытовал и у окон, и под открытым небом. Но там небо его инте-

ресовало утилитарно – польёт ли оно загривок дождем, рванет ли ветер и, если рванет или потянет, то с чьих позиций? Ветер – штука архиважная… Но отчего тогда стоят на месте замерзшим сливочным океаном розовые облака? Где ветер на высоте?

Константин Новиков, глядя в иллюминатор, на котором виднелись крохотные капельки росы, насупился. Эта поездка обрежет пуповину, связавшую его жизнь с утилитарной, выжидательной стороной бытия. Маленькая война не в счет. Тут счет на большее…

Дядя Эдик сгинул в 1990-е, ближе к окончанию того лихолетья. Константин собственноручно купил и передал упрямо курчавому, никак не желавшему стареть Эдику какие-то особые, по его заказу найденные в Чехии магниты, ради которых Новиков-младший пожертвовал многими и многими литрами горького Пилзнера и метрами сосисок. Эдику магниты понадобились не просто так – тверской Кулибин соорудил из них какую-то удивительно полезную штуку. Штука то ли понравилась, то ли, наоборот, помешала серьезным бандитам. Боря Угрюмый… Или Боре не понравился Эдик, когда отказался. Константину все равно, что именно не пришлось по душе Угрюмому. Когда он нашёл Угрюмого с помощью Вадима Власова, то разбираться в этом у него не осталось времени – он застрелил Борю и двух его подонков, раньше чем те отстрелялись в него. И не жаль. Они все, и Эдик, и Боря, похоронены в братской могиле под облаками. Могила под

розовым морем. Россия. Или крылья уже над братской Украиной? Или над дружественной Германией? Константина отвлёк тычок в плечо. Маленький кулак, а больно. Он обернулся – соседка, русская девушка.

– Мужчина, Вы омлет или курица с рисом? – артикулировало это существо гибкими как из гуттаперчи губами. На слове «омлет» они принимали форму овала на пол лица. И что она так старается, он же не глухой? И не курица с рисом. И по-немецки он стюардессу понимает, спасибо дяде Эдику. В переводчице не нуждается.

– Вы меня, что ли, испугались? Что так глядите, как во сне ужаленный? – девица проявила настырность, пробудившая в Новикове сложное чувство.

– Кто в сказке был, тот жизни не боится. Возьму омлет, если он такой же округлый, – ляпнул он.

– Как что округлый? Как кто?

Константин смутился и отвернулся. Как буква «О»? Ну не говорить же девушке про ее рот! Как-то неприлично… Ладно, забыли, о-млет так ам-лет…

Дядя Эдик ценил отца. А за что? Чудак так ни разу и не ответил Косте на этот вопрос. Собственно, Эдик ни о чем не говорил прямо. То есть так, как привык объясняться Константин Новиков. Эдик для всего находил оборот. Форму. Даже про фашистов. Были у него свои про них истории. Вот хоть про корову Геббельса, которую Кирилл Петрович Новиков просил не рассказывать его детям…

А кому еще? Своих у Эдика не было. Так что рассказывал, обходя запреты. «Ну, уж, скоры мы и коров за клички репрессировать. Ах была она скромна, та корова Берия, не давала молока, даром что империя… Как бы они нас в отместку на своем коровьем му-му… как-нибудь на „му“ не прозвали», – ворчал он, объясняясь с Кириллом Петровичем. Костя вслушивался в голоса взрослых, доносящиеся с терраски, и мечтал когда-то так же легко, кругло без привязки к колышкам, говорить по-русски. Не вышло.

«Писать кругло не научишься, это дар божий, голубок с рожей», – смеялся на то Эдик. Его правда. Хотел Костя кругло, а стал наоборот, прямой и топорный в речи, как приписной военный. И стесняется этого. Он ведь не военный. Он относится к новому классу, народившемуся на Руси – как бы военных. Смешно теперь. Теперь, когда снова есть военные. Как бы настоящие. И даже в чести… Только военным Константин никогда не хотел быть… «Каску на душу не натянешь», – и так говаривал Эдик.

И снова острый кулак в плечо. На сей раз легонько, но и это уже слишком. Чай, не сестра.

– А омлета больше нет. Так Вам что, курицу, мужчина? Ау!

Константин оторвал свинцовый лоб от стекла, на котором остался затуманенный островок. Зачем спрашивать? Зачем предлагать то, чего нет? Зачем вообще все? Зачем отец принимал подношения раввина из Аргентины? Вот вопрос во-

просов! При чем тут курица? Новиков так и не ответил. Он задрал взгляд поверх головы соседки, будто не видя ее. Он знает, это не вежливо…

«Кося, тебе необходимо научиться обращению с женщинами. Таким букой ты никогда не обрастёшь семьей. Или такую найдёшь, что локти будешь кусать», – раз за разом увещевала его сестра.

И он признает правду в ее словах. Не выходит у него с нормальными женщинами. Как будто предохранитель, вмонтированный в душу, щелкнул и опустился. А чтобы его поднять, что-то должно с душой произойти, что-то она должна совершить…

Последняя полунормальная его женщина – снайперша из Болгарии. Софья из Софии. Странный в Болгарии биатлон? У них там многое странно. «Да» и «нет» перепутаны, наизнанку головой мотают. А его это устраивало. Женщина – инопланетянка для мужчины, а потому лучше во всем, последовательно и до конца, без соглашательства и без мелкого ослиного упрямства, признавать ее право считать правое левым. И не позволять ей путать их на мужской территории.

София была умна, точна, по-своему грациозна и привлекла его сочетанием холодности и страстности. Хладнокровие в одном, буря в другом. Они вдвоём неплохо крутили любовь два года. Общее тело с восемью конечностями, общее дело, общее, пусть недолгое, прошлое. Байки, истории, скелеты в шкафу. А потом обнаружилось, что для того, чтобы

быть вместе и дальше, нужно искать поводы. И проще найти повод, чтобы не быть… Год назад до него дошло известие о ее гибели под Луганском. Сердце екнуло? Он не может сейчас вспомнить высеченного из камня чувства. Помнит только ровную, без боли, пустоту. Минута молчания – это точный и проверенный способ скрыть в тишине эту пустоту. Не то с Эдиком. Его по сей день не хватает, его пустота ноет.

А тогда вопрос: зачем вообще такому сердцу женщина? Лучшей, чем София, Константину все равно не найти. Зачем он лучшей? Лучшая захочет копнуть поглубже в его душу, она не станет довольствоваться близостью инопланетян, как некогда София. А ему это – о душе – надо? С Софьей они ни разу не заговаривали о душе. Запретная зона, нейтральная полоса между планетами. Он, Константин Новиков, за это не в претензии…

Отец, Кирилл Петрович, «таких» тем не то что избегал, но как будто становился с ним осторожен, как взрослый с ребёнком, – только Константину порой казалось, что взрослый – он, а отец в себе не уверен, не знает, как в школе говорили, формулы верного ответа. Или, как однажды сформулировал дядя Эдик, «твой Кирилл Петрович боится знать, как надо». О душе – доводилось с Эдиком. Только Эдик тот ещё был душевед.

«Ты не верь, Костя, что у тебя душа есть. Нет ещё в тебе души».

«А что же тогда беспокоит меня, Эдик»?

«А выпавшая пломба беспокоит больше, чем целая. То, чего нет, беспокоит больше чем то, что есть. Нет в тебе души, хотя не совсем так – душа родится сразу, как ты умрешь. На твоём месте. Сохранив энергию. Есть такая слабая энергия – подобия. Но это потом. Это если займёшься настоящей физикой, как Кирилл. Нет, нет, именно физикой души… На том месте конденсируется душа, где было чувство справедливости. От справедливости – одни ошибки, ты это учти. А так что и не надейся избежать греха. Живи себе так что, бей себе шишки. Спеши натягивать колготки. И об этой штуке – душе – много не чешись. Сохрани ты огонёк жизненности – на него она и прилетит»…

Так что же, всех и вся простить, воткнув крест осиновый в могилу справедливости? Ты в бога поверил, дядя Эдик? Да упаси боже. В Льва Николаевича Толстого. Простить – возвыситься. А вот принять, что у каждого место своё и рояль своя – этому не всякий-який научится. Так?

«Если бы души совсем не было, что тогда несло бы тебя в Вену? Беспокойство чего? Или прав Эдик, и беспокоит не душа, а орган справедливости? Чертово розовое море! Когда это в последний раз ты размышлял о душе? А тут развезло! Нет, развело! Вот чудесный русский язык»!

– И я тоже не понимаю, зачем спрашивать, если все равно нет? – Брови девушки тоже оказались гуттаперчевыми. Брови, которые могли бы достать апогеем дуги до выпуклой доли лба – такого он не встречал, и эти брови его заинтересовали.

– Это очень по-немецки; если в инструкции предписано спросить – спросят. И очень по-австрийски – что омлета не хватило, – девушка продолжила сыпать словами.

– Часто бываете в Европе? Познали немецкий орднунг? – вступил в права участника диалога Новиков.

– Нет, скорее австрийский озохенвей, – живо, не раздумывая, среагировала девица.

– Живете или работаете? – пропустив озохенвей, продолжил допрос Константин. Ему любопытно было наблюдать за лицом.

– В культурную столицу я по работе.

– По тревожному письму?

– По тревожному нас в Саратов или в Урюпинск. А сюда – по культурной потребности. Для ее удовлетворения.

– Потребности или надобности?

– Это откуда думать…

– А откуда можно думать? Разве не из головы? Есть варианты?

– Можно из прошлого. В Урюпинске мы тоже бывали. Можно из будущего. А если из настоящего – то по надобности. Согласны?

Новиков прищурил глаз. Какое разнообразие овалов предоставляет это лицо!

– А почему Вы решили, что я согласен? На мне написано, что я действую по надобности, и что я – не гласная, а согласная?

– Шутите?

– Ничуть. Я не умею шутить.

– Принято. Вы дольше обычного разглядывали облака для мужчины с такими набитыми кулаками, так что как раз наоборот.

– Так Вы – журналистка? – нахмурился мужчина, срезав линию про облака и про кулаки. Ближе к сути!

– Точно. Хотела быть писательницей, училась на филолога, а стала журналисткой.

Константин хмыкнул. Он не любит журналистов. Кто их сейчас на Руси любит, из честных то, из пахотных, из тех, кто в пахоту по нос да уши, когда свистят мушки над головой. Но говорить об этом девушке он не счёл уместным, разглядев в том свой профит.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.